

И. А. БУНИН

ПЕТЛИСТЫЕ УШИ
и другие рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

И. А. БУНИН

ПЕТЛИСТЫЕ УШИ
и другие рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1954

THE KNOTTED EARS AND OTHER STORIES

by

IVAN BUNIN

**Copyright, 1954, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.**

Printed in the United States of America

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящий сборник является последней книгой рассказов, отобранных еще рукою Ивана Алексеевича Бунина, скончавшегося в Париже 8 ноября 1953 г. на 83 году жизни.

Уход из жизни такого большого писателя как Бунин придает всем мыслям, поступкам и планам, которым не суждено было осуществиться, особую значительность. Такую особую значительность приобретает самый отбор рассказов, вошедших в эту книгу. В одном из своих писем в Издательство, посвященных рассказам этого сборника, Бунин писал, что тематически он собирается разбить книгу на три части: первая часть книги, открывающаяся рассказом «Петлистые уши», — «трагична»; вторая, начинающаяся с рассказа «Аглая», — «светла, благостна»; третью часть Бунин предполагал посвятить Чехову, над литературным портретом которого он работал последние месяцы своей жизни. Портрет этот остался незаконченным, и поэтому не мог быть включен в сборник. В качестве перехода к Чехову Бунин выбрал рассказ «Сны», и вот почему: в собрании сочинений и писем Чехова, вышедшем в Москве сравнительно недавно, Бунин нашел отзыв Чехова о рассказе «Сны». Рассказ этот был написан Буниным полвека тому назад. Отзыв Чехова был написан всего за год до его собственной смерти. Незадолго до своей кончины Бунин нашел этот отзыв Чехова и, конечно, прочитал его «с большой радостью». Так, перед смертью, Чехов и Бунин, думая друг о друге, оказались стоящими совсем рядом. И рядом, как представители русской литературы, стоят они и в душе русских читателей.

I.

ПЕТЛИСТЫЕ УШИ

Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, многим встречался в этот темный и холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах Невского проспекта. С панели Лиговки он, с непонятной серьезностью, смотрел на памятник Александру III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих круг по площади, на черные людские фигуры, на извозчиков и ломовых,двигающихся к вокзалу, на огромный почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб; стоя на Аничкином мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи; бродя по Невскому, внимательно изучал товары в окнах магазинов. Не заметить и не запомнить его было нельзя, и всякий, кому он попадался на глаза, испытывал чувство смутной неприятности, какого-то беспокойства и, отворачиваясь, думал:

— Ах, какой ужасный господин!

Его обувь, узкие брюки, драповое пальто, забрызганное сзади грязью, и кожаный английский картуз говорили о том, что они носятся давно, бесценно и во всякую погоду. Необыкновенно высокий, худой и нескладный, долгоногий и с большими ступнями, с свежее выбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброжелательным и сосредоточенным, не выпускающая длинных рук из кар-

манов и равномерно жуя мундштук папиросы, он подолгу стоял перед витринами. Точно ли уж так интересовали его все эти галстуки, часы, чемоданы, пишечбумажные принадлежности? Сразу было видно, что нет, что он из числа тех странных людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут думать только на ходу, на улице, или вследствие бездомности, в ожидании чего-нибудь.

Вечер он провел в дешевом ресторане недалеко от Разъезжей, с какими-то двумя матросами.

Не раздеваясь, все трое сидели в тусклой и холодной комнате за неудобным столиком у стены, причем Соколович поместился особенно неудобно: в спину ему глядел маленький круглоголовый татарин, стоявший в глубине комнаты за стойкой с закусками, перед глазами у него торчала на стене реклама пивного завода, изображающая трех счастливых хлыщей в цилиндрах на затылок и с пенящимися бокалами в руках, справа поминутно дуло ледяной сыростью, приносимой входящими с улицы посетителями, а слева веяло ветром от пробежавших к стойке и обратно официантов: тут был порог в три ступеньки, — ход в коридорчик, откуда пахло кухней и кислотой газа, — и видна была открытая дверь в бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где крепко щелкали шары и ходили с киями на плечах и в одних жилетах мужчины: головы их терялись в сумраке. Садясь на свое беспокойное место, Соколович вынул из кармана пальто трубку и, перекосив брови, пристально посмотрел на пивную рекламу. Матросы разговаривали с подошедшим официантом, а он стал набивать трубку табаком и, ни к кому не обращаясь, медлительно сказал своим густым голосом:

— Почему собирают всякий вздор, а не собирают рекламы, то есть исторические документы, наиболее правдиво рисующие человеческие идеалы? Разве, на-

пример, вот эти франты не выражают мечту девяти десятых всего человечества?

— Вы ж сами панский сын, — неприязненно заметил на это один из матросов, Левченко.

— Я сын человеческий, — сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая могла сойти и за иронию. — Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие — видеть, как несется на тебя улица и как мечется впереди, не зная, в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама.

И, сказав, закурил, поставил локоть на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, на которой под обшлагом не видно было рубашки и на удлинённой плоской кисти синела татуировка, — изогнутый японский дракон.

Весь вечер пили из чашек, под видом чая, кавказский коньяк, закусывая мятными розовыми пуговками, и немилосердно дымили. Матросы, как все рабочие люди, постоянно оскорбляемые жизнью, много говорили, каждый стараясь говорить только о себе, выискивали в памяти наиболее низкие поступки своих врагов и притеснителей, хвастались, — один будто бы дал однажды «в харю» придирчивому помощнику капитана, другой вышвырнул за борт боцмана, — и все спорили, поминутно крича:

— Ну, хотите пари?

Соколович сосал трубку, двигал челюстью и угрюмо молчал. Завсегдатай всяческих притонов от Кронштадта до Монтевидео, он, однако, никогда не пьянствовал, любил только джинджер, абсент. В этот вечер он не отставал в питье от своих компаньонов, но наружно хмель не оказывал на него влияния. И это тоже задевало матросов, тем более, что их, как они признавались впоследствии, всегда раздражало силь-

ное и отталкивающее лицо Соколовича, его склонность к загадочной задумчивости и то, что они хорошенько не знали и не могли понять ни его характера, ни его прошлого, ни его теперешней бездомности и бездельной жизни. Левченко, пьяневший довольно быстро, раз крикнул ему:

— От тоже тип! Мы ж вас угощаем, что ж вы не разделяете компании, а только смочете свою копченую люльку?

И Соколович грубо и спокойно осадил его:

— Не орите, сделайте милость. Это меня сердит. Я уж не раз говорил вам, что вино на меня мало действует и не доставляет мне особого удовольствия. Вкус у меня притупленный. Я так называемый выродок. Поняли?

Левченко смутился и ответил с напускной развязностью:

— Ну, да и вы тоже не задавайтесь, пожалуйста! Что такое я понял? Когда б вы были выродок, вы бы были больной и на вино слабый, а вы мне рассказываете обратно. Вы человека можете убить одной рукой, а говорите...

— А говорю правильно, — перебил Соколович, возвышая голос. — У всякого выродка одни восприятия и способности обострены, повышены, а другие, напротив, понижены. Поняли? И сила тут совсем ни при чем.

— А как же я того выродка узнать могу, если он здоровый, как той кабан? — насмешливо спросил Левченко.

— А по ушам, например, — ответил Соколович не то всерьез, не то насмешливо. — У выродков, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, — вот на ту самую, которой и давят их.

— Ну, знаете, убить всякий может, если разго-

рячится, — небрежно вставил другой матрос, Пильняк. — Я раз в Николаеве...

Соколович выждал, пока он кончит, и сказал:

— Я, Пильняк, тоже подозреваю, что эти уши присущи не одним только так называемым вырождакам. Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, — по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, — убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение, — пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни, мучаются, ужасаются?

— Я читал «Преступление и наказание» Достоевского, — заметил Левченко не без важности.

— Да? — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. — А про палача Дейблера вы читали? Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком споконья, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело однако не в вырождаках, не в пала-

чах и не в каторжниках. Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, — все полны такими же записями и кто же это содрогается от них? Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в библии слово «убил» употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью Творцу за содеянное.

— Зато это и называется ветхий завет, древняя история, — возразил Левченко.

— А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее встала бы шерсть у гориллы, умеи она читать... Ну нет, — сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону: — с Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность — вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни Цезарей, ни инквизиции, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-Потрошителей... Как вы думаете, Левченко, — спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов: — мучились все эти господа муками Каина или Раскольниковова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемые скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще сто тысяч армян, что немцы отравляют колодцы чумными бациллами, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нибудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и про-

цветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы.

— Мájна! Поехало! — крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор.

Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил:

— В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц. Но ведь всякий отлично знает, что мир ни на иоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно. Но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два, когда кончится война, по Европе?

Пильняк стал рассказывать о своем дяде, который зарезал из ревности свою жену. Соколович, послушав, заметил в сумрачном раздумьи:

— Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...

И, поставив локти на колени, снова замолк и как бы совсем забыл о своих собеседниках.

В одиннадцатом часу, небрежно, свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому.

Яркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга ка-

рет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, силясь справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан городской, плохо двигавший одревеневшими от стужи губами: до слуха Соколовича донеслось, что задавлен какой-то переходивший улицу старик с белой бородой и в длинной енотовой шубе, будто бы знаменитый писатель, но Соколович даже не приостановился. Он повернул на Невский.

Некоторые обгоняли его, с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял он сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черную толпу, бегущую перед ним, почти противоестественно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни, все время начиная с левой ноги и делая левый шаг шире правого. От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились в этом дыму заиндевевшие извозчичьи лошади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара — молодой офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулевую муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь винно-красных трамвайных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы. Большое лицо его было свирепо в своей сосредоточенности.

Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мгlistой высоте, означился красноватый глаз часов на башне городской думы. Соколович остановился и довольно долго стоял, закуривая папиросу и исподлобья оглядывая бесконечно и медленно проходивших мимо, уже появившихся на панели проституток; за ним было громадное зеркальное окно запертого, печально, по-ночному освещенного магазина, откуда недвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика.

Там, в тесной толпе, евшей и пившей стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу, — светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, — и спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке, с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять серник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил:

— Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского?

Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжелойвесной серьезностью ответил:

— Вы ошибаетесь, господин сыщик.

У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец, опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики ставшие вдруг вольными и грубыми лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места.

Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец

мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется Полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, темнее. По ним, напевая, гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы.

Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов двести, взял из этих женщин некую, как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкоую, в шляпке как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда в глубь снежной России, мимо той ужасной толстой лошади, что вечно гнет, в дожде или тумане, свою большую голову, прося повода у своего дородного седока, потом по Гончарной — и далее, по туманным улицам и переулкам, в таинственную глушь ночных столичных окраин.

Дорогой Соколович молча курил. Королькова, видимо тяготясь этим молчанием, заметила, что, по ее мнению, папиросы «Голенищев-Кутузов» лучше, чем «Сирень». Эта попытка завести разговор простой, как бы даже несколько дружеский, еще не связанный с целью путешествия, была жалка и трогательна; но Соколович промолчал. Тогда она стала просить, чтобы он заплатил ей вперед, и с напускной смелостью прибавила, что на всю ночь она согласна только за хорошую цену. Он молча вынул и подал ей два серебряных рубля. Она взяла, попробовала один из них зубом, нашла, что он фальшивый, спрятала его в муфту, говоря, что это не идет в счет, что она оставляет его только так, на память, потому что теперь война и серебро редко, запрещено, и стала просить еще. Помедлив, Соколович дал ей еще рубль. Тогда она сделала новую попытку — быть женщиной: внезапно вздрогнула и сделала движение прижаться к нему. Вздрогнула она притворно, но, должно быть, непритворно было чувство, вдруг охватившее ее: она остро ощутила влечение к нему, большому, сильному, цельному в своем безобразии и беспощадной мрачности. Но он не ответил на ее движение.

Заехали они далеко. Королькова приказала извозчику остановиться возле двухэтажного кирпичного дома с вывеской: «Номера для приезжающих Белград». Было уже без четверти два, место было глухое.

Во втором этаже «Белграда», куда Соколович поднялся с Корольковой по затоптанному половику, гостей встретил в полутемном коридоре номерной Няньчук, спавший на узком деревянном диванчике под дрянным зимним пальто с вытертым барашковым воротником. Рост, мрачно-сосредоточенный вид и жидкая, мокрая от тумана американская борода Соколовича поразили его спросонья. Он поднялся и неприветливо спросил:

— Что нужно?

— Точно ты не знаешь, болван, — сквозь зубы сказал Соколович, самоуверенно проходя мимо него и кладя ему в руку серебряный полтинник.

Няньчук хотел было обидеться и сказать: «от такого же слышу», но ощутил в руке деньги, узнал Королькову, которая, проходя, проговорила: «Не узнал меня, богатой быть!» — и только нахмурился. Недовольно бормоча, что им и так каждый день неприятности от полиции, он опередил Соколовича и, черкнув спичкой, распахнул дверь в сложно и сладко чем-то пахнувший, душный и очень теплый номер, половину окна в котором наискось загораживала крыша какой-то дворовой постройки. За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела.

— Что это такое? — строго и даже тревожно спросил Соколович, останавливаясь.

— Ночные работы, ассенизация, — проворчал Няньчук, все еще чувствуя обиду, и, засветив на подзеркальнике две свечи в красных розетках и пузырями опуская белую коленкоровую штору, осведомился, чего гости будут требовать.

Соколович потребовал себе квасу и, странно усмехнувшись, прибавил:

— А для барышни фруктов.

— Фруктов нету, — ответил Няньчук. — Виноград есть. Полтора рубля порция.

— Прекрасно, — сказал Соколович, — подай винограду.

Корольковой такое обращение, видимо, польстило. Стараясь быть и в самом деле барышней, которую зимой угощают виноградом, оглядывая номер, потопывая озябшими ногами и дуя в муфту, она капризно заметила:

— Ой, ой, ой, верно холодный!

Через минуту Няньчук принес на большом железном подносе виноград и две откупоренных бутылки, из которых полезла пена, и Соколович тотчас же запер дверь на ключ. Королькова, когда выходил Няньчук, щипала, стоя у стола и все еще дыша в муфту, пересыпанные опилками, твердые зеленые виноградины, а ее страшный спутник с своим желтым ожерелком и свежее выбритым ртом снимал в углу пальто, разматывал длинный шарф из грубой лиловой шерсти. И затем номер, за окном которого пылало зловещее пламя и глухо шумела сокровенная ночная работа, облекся в тайну.

В четыре часа задремал в коридоре звонок. Няньчук очнулся, скинул с диванчика ноги в штрипках подштанников и войлочных туфлях и пошел к ящику звонка. Там выскочила цифра три. Из-за двери третьего номера женский голос потребовал десяток папирос «Зефир». Возвращаясь из буфета с папиросами, заспанный Няньчук спутал, в какой именно номер нужно подать их, и постучал в восьмой, отданный Соколовичу. Грубый, низкий бас медленно спросил из-за двери:

— В чем дело?

— Ваша баришня папиросы просила, — сказал Няньчук.

— Моя «баришня» не просила да ни в каком случае и не могла просить папирос, — ответил бас наставительно.

И Няньчук, тотчас вспомнив, кому нужно подать коробочку, и подав ее в полную женскую руку, высунувшуюся в приотворенную дверь третьего номера, снова лег на свое место и крепко заснул под мерное постукивание часов в конце коридора полутемной и тихой гостиницы.

Снова очнулся он только в седьмом часу: над ним, во весь свой рост, в пальто и в картузе, стоял и толкал его в плечо постоялец из восьмого номера.

— Вот тебе за номер и за труды, — сказал он. — Выпусти меня. Мне пора на завод, а барышня велела разбудить себя в девять.

— А за виноград же? — быстро и с тревогой спросил Няньчук.

— Я все счел, — сказал Соколович. — По-моему четыре семь гривен. А я тебе пять с полтиной даю. Понял?

И спокойно пошел по лестнице.

С полузакрытыми от жажды сна глазами, поправляя плечом накинутое на плечи пальто, Няньчук опять опередил его и затопал вниз по ступенькам лестницы. Соколович терпеливо ждал, пока он одолеет туго повертывавшийся в дверной скважине ключ. Наконец дверь распахнулась. Он прошел мимо Няньчука, приподнял ворот и, как оперный певец, боящийся простуды, закрывая рукой горло, густо сказал себе в бороду: «до свиданья» — и вышел на улицу, на сырой и свежий воздух. Было еще совсем темно и тихо, но в этой темноте и тишине уже чувствовалось близкое утро. Надо всей окрестной далью, надо всем огромным гнездилищем еще безмолвной столицы стоял невнятный, отдаленный стон фабрик и заводов, зовущий из всех своих нищенских приютов, из всех своих низов и притонов несметный трудовой люд. Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, освещал часть мостовой и улицы. Туман рассеялся, ночью шел снежок, — громада теса, возвышавшаяся из-за забора за фонарем, траурно белела на черноте ночи. Соколович повернул направо и скрылся вдали. Продрогший Няньчук хлопнул дверью и побежал по лестнице назад, наверх.

Ложиться снова было уже не к чему. Он стал искать под диваном ботинки — и вдруг увидел, что дверь восьмого номера приоткрыта и что за нею есть свет. Он вскочил и кинулся к номеру: в номере было

так страшно тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, трещали догоревшие в лопнувших розетках свечи, в сумраке бежали тени, а на кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги лежавшей навзничь женщины. Голова ее была придавлена двумя подушками.

1916 г.

БОГИНЯ РАЗУМА

I.

Я записал этот день:

«Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума».

II.

Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улочки Сэн-Мартэн, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями, — то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой, — но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить се-

бе, — в Соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, и затем — *après avoir détrôné la ci-devant Sainte Vierge* — торжественно была отнесена в Тюильерийский дворец, в Конвент: как живое воплощение нового Божества, обретенного человечеством.

Погребена Богиня на Монмартрском кладбище. Как не взглянуть на такую могилу?

III.

Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь и наконец совсем преисподняя, ее влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глянцевого, как брюхо адского змия... Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времен Богини Разума и опять — о ее удивительной судьбе, ее удивительном образе.

Современники писали о ней: «Одаренная всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства; при взгляде на ее стан и очерк ее головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины-Паллады, и она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздавать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лет тридцать пять. Можно себе представить, как прекрасна была она в двадцать, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на строй-

ной ноге, с золотым полумесяцем на высокой прическе, с луком в длинных округлых руках, — Дианой Девственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; материальное ее положение было незавидно — всего несколько сот ливров в год жалования да угол в родительском доме; положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала грошевое платьице и бежала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри *très sage*, — простодушие, милая легкость, нетребовательность всегда отличали ее характер. И вот «народ, разбивший оковы рабства, достойно прославил ее 10 ноября 1793 года», обессмертил «*ce chef-d'œuvre de la Nature*», как галантно назвал ее Шомет, представляя Конвенту. И много лет после того распевали уличные певцы стихи Беранже о ней:

*Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle
 Quand tout un peuple entourant votre char
 Vous saluait du nom de l'immortelle
 Dont votre main brandissait l'étendard?
 De nos respects, de nos cris d'allégresse,
 De votre gloire et de votre beauté,
 Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse,
 Déesse de la Liberté!*

IV.

Возле Оперы я вышел на свет Божий. Добродетельные греки были правы: небо, солнце, воздух — высшая радость смертных, трижды несчастны тени, населяющие ширококватное царство Гадеса. Бедная Тереза Анжелика Обри, бедная Богиня Разума! Как бы это получше уяснить себе разумом, почему и за что

уже сто лет гниет в земле «се chef-d'œuvre de la Nature»?

Солнце, все-таки еще зимнее, уже склонялось, был самый людный час, и несметное множество народа и экипажей затопляло площадь в его зеленоватом жидком блеске. Пешеходы бежали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймал свободный автомобиль, вскочил и поехал дальше. Из одного длинного и узкого уличного пролета глянул на меня с высоты Монмартра бледный восточный призрак собора Sacré Cœur...

V.

В автомобиле я добросовестно постарался вспомнить возможно подробнее и представить себе возможно яснее все, что знал о 10 ноября 1793 года.

Какой был тогда Париж? Бог его знает, какой, слабо наше воображение, не велик разум. Ну, конечно, был Париж уже и тогда огромным городом, со множеством садов и поместий, с прекрасными зданиями, но и с лачугами, с лужами и грязью даже на площадях, с грубыми средневековыми мостами через патриархальную Сену... Левый берег вообразить легче, — столько еще сохранилось там прежних узких улиц и узких нелепых домов. Зато собор все тот же. Как странно, — все тот же, как тогда, когда стояла под его сводами, на бутафорских скалах, возле Храма Премудрости, престелная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновение я довольно живо почувствовал душу Парижа в те годы, тот развал жизни, то нечто бездельное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которым веет в воздухе во времена всех революций. И был сырой осенний день с сильным холодным ветром, сменившим ночной проливной дождь, и всюду, — на мостах, в улочках, ведущих к собору,

и особенно на площади перед ним и в нем самом, — было великое, как бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался над городом грохот пушек, салютующих коронованию Нового Божества. А Новое Божество стояло под сводами собора, *dans cet édifice ci-devant dit église métropolitaine*, на скалистой горе, возле белоколонного храма, в красной шапочке, в белой хламиде, опоясанной пурпуровой лентой, с копьём в руке — и два хора *des adorateurs de la Liberté* — тоже во всем белом, в венках из роз, возжигали перед ней ароматы, воздавали ей поклонения и протягивали к ней обнаженные руки:

Descends ô Liberté, fille de la Nature! —

а густая толпа «патриотов», переполнявшая собор, редела и рукоплескала...

VI.

Монмартрское кладбище было когда-то за городом и, вероятно, было уютно, мирно, похоже на рощу, на большой сад. Теперь все растущий город окружил его отовсюду, включил в себя. А так как оно лежит в низменности, то через эту низменность перекинут теперь длинный и тяжкий железный мост, по которому беспрерывно идут и едут, катятся с глухим гулом валкие омнибусы, несутся и на разные лады вопят автомобили, гремят и звенят трамваи. И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечного пристанища Богини Разума: этот черный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное.

Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых сто лет

даже историки, специально занимавшиеся изучением «великой» революции и в частности культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об этом хорошенько, да отчасти и был прав: ведь все-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне все-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что по крайней мере хоть на кладбище-то ее могила есть нечто и всем введома. Поэтому отчасти была простительна наивность, с которой я обратился к первому встречному: где могила Богини Разума? Однако, встречный посмотрел на меня как на помешанного:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал мне обратиться лучше в кладбищенскую контору.

Тогда я еще увереннее направился в контору. Каково же было мое удивление, когда и в конторе мне ответили на мой вопрос вопросом же:

— Это ваша родственница, г-жа Обри?

— Но совсем нет, — сказал я, опешив.

— Она давно погребена?

— В январе 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

— Помилуйте, да вы смеетесь! Можем ли мы знать всех погребенных здесь сто лет тому назад!

— Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?

— Кажется, первый! Обратитесь к какомунибудь сторожу, может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть и надпись сохранилась...

VII.

А затем я спросил о знаменитой могиле у полной, с черными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая в ней привратницу. В самом деле, это была привратница и к тому же очень живая и толковая, — эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее получаса, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обращался к встречным дамам и господам в трауре... И один господин ни с того ни с сего (вернее, с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил) предложил мне взглянуть на могилу Золя. Эта могила была в двух шагах от меня, на пригорке. К вечеру совсем засвежело, небо над кладбищем стало еще бледнее, низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания, — очевидно, тоже в честь Разума. Над глыбой стоял на цоколе терракотовый бюст — молодой мужчина лет тридцати, щеголевато-демократической артистическо-рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закурив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок. — «Ну и Бог с ней, с этой Богиней Разума, — подумал я, — пора домой» — и вдруг увидел себя как раз перед ее могилой...

И присев на соседний надгробный камень, я устался на могилу в полном изумлении.

VIII.

Да, так вот оно что: даже на кладбище ни единая душа не знает и знать не желает о какой-то Богине Разума, некогда коронованной вот в этом самом Париже, под древними сводами собора Парижской Богоматери. Но мало того: что же это такое перед моими глазами?

Перед моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А под деревом — квадрат ржавой решетки. А в квадрате — камень на совсем плоской и даже слегка осевшей земле, а на камне — две самых простых каменных колонки в аршин высоты, покосившихся, изъеденных временем, дождем и лишаями. Когда-то их «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этих украшений: одна урна совсем куда-то исчезла, другая валяется на земле. И на одной колонке надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри».

— *Est-ce bien vous?*

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежит в земле в двух шагах от меня?

Там еще есть гнилые, смешавшиеся с землей остатки гроба, правильно лежащие кости, зубастый череп... Это она? Конечно, она. А с другой стороны — конечно, не она... Мудрый разум, помоги, — я всегда в подобных случаях совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разум не помогал.

IX.

Бесспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего в силу необыкновенных несчастий. В общем, она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не по-

нимать этого даже в те дни, которые, казалось бы, должны были быть ее лучшими днями.

Революция совпала с апогеем ее красоты и молодости. И, казалось бы, что ж ей, молоденькой фигурантке, да еще дочери ремесленника, революция? Только радость! А потом — «vous êtes déesse, déesse de la Liberté!». И жалованья прибавили, да еще сразу вдвое... Но нет, слишком хороша она была по натуре для всех этих радостей.

На ее глазах началась и целые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сцене и которая, конечно, только восхищала ее своим блеском. Разрушает «старую жизнь» во время революций не презрение народа к ней, а как раз наоборот — острая зависть к ней, жажда ее. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по ее характеру, только рукоплескания (причем рукоплескания маркиза она, вероятно, все таки предпочитала рукоплесканиям трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видеть, что такое есть то царство Братства и Равенства, в которое она попала, то «Жертвоприношение Свободе», — «l'Offrande à la Liberté», — которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и которое тоже ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на площадях с гильотинами. А Бог, церковь? Может быть она была равнодушна к религии. Но все-таки не могло не потрясать ее и все то, что делалось в те дни и с религией, вся эта вдруг начавшаяся по всей стране бешеная, зверская охота за священниками, грабеж и осквернение церквей и, как венец всего, упразднение Бога по комиссарским декретам и переименование в «Храм Разума» собора Парижской Богородицы, сперва даже было предназначенного к полному разрушению. Могла ли быть горда и счастлива в такие дни вот эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежат в земле предо мною?

X.

Но она не только испытала весь этот общий кошмар, в котором несколько лет жила при ней вся страна. Над нею — уже лично над нею — внезапно разразилось нечто еще более ужасное: «*tout un peuple la saluait du nom de l'immortelle*», то есть, говоря проще, заставил ее играть самую дикую и постыдную роль в кощунстве еще более неслыханном, чем все прочие. Прости ей, Боже, разве виновата была она! Ведь ее именно заставили, заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же не сладко ей, вероятно, было. «*Vous marchiez fière; oui, vous étiez déesse de la Liberté...*» О, пошлейшая из пошlostей! Конечно, в глубине души несчастной Терезы Анжелики была некоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ее кружилась: ведь все-таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всем этом небывалом и грандиозном, хотя и чудовищном торжестве, и играет роль, которую не играла никогда ни одна актриса в мире, и все это благодаря своей красоте, тому, что она и впрямь есть истинный «*chef-d'œuvre de la Nature*». Но вместе с тем какой неопиcуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей Божьей Матери!

Повторяю, — и до 10 ноября испытала она уже не мало, неизменно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изуверов, на сцене Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значит в действительной жизни, все эти «*l'Offrande à la Liberté*», и «*Toute la Grèce ou ce que peut la Liberté*». Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность,

каждый Божий день поражали город какой-нибудь новой выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову. «Pour activer le mouvement papiste», Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «всенародном» празднестве в честь Разума, о беспримерном кощунстве в стенах Парижского собора, а m-ле Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления к празднеству закипели с остервенением, и к воскресенью все потребное, чтобы Бог и попы были посрамлены окончательно, было вполне готово. Всю ночь накануне лил как из ведра ледяной дождь. Утром он перестал, но грязь была непролазная и дул свирепый ветер. Тем не менее, с раннего утра загрохотали пушки, загремели барабаны, Париж стал высыпать на улицу...

XI.

И было великое безобразие, а для Обри и великое мучение, даже телесное. С раннего утра она, вместе с прочими «Обожателями Свободы», то есть с кордебалетом и хором, была уже в холодном соборе, репетировала. Потом стали собираться «патриоты», прискакал озабоченный Шомет — и началось торжество. Потом — и все под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с ее тронem и понесли, в сопровождении хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять — давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голу-

бую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра Парижского Архиепископа. А в Конvente — торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который ее приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою... Тут бы, казалось, и конец. Но нет! Из Конвента Обри понесли, совершенно так же, как и принесли, назад, в собор! Вообразите себе хорошенько это новое путешествие и перечитайте затем стихотворное красноречие Беранже...

ХII.

Прошла революция, снова наступила Империя и снова Обри заставляла разом подниматься все бинокли и лорнеты при своем появлении на сцене. Звезда ее стояла высоко, время, молодость, успехи сделали прошлое далеким сном. Но вот однажды, в один из самых блестящих вечеров, в присутствии самой Императрицы и ее Двора, во время апофеоза, которым оканчивалось «Возвращение Улисса», в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на землю, «Слава» — я употребляю театральный термин того времени — «Слава», на которой восседала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью — и стала ею. Теперь, после того, как ее, окровавленную и изувеченную, принесли в уборную и привели в чувство, первое, что слетело с ее губ, был крик: «Ради Бога, не пускайте ко мне Фанни, это испугает».

ее!» А затем она тотчас стала умолять сказать ей правду: будет ли она в состоянии снова играть, если останется жива?

Нет, играть ей больше не пришлось. Всеми вскоре забытая, калека, обеспеченная только скудной пенсией, она повела грустную и однообразную жизнь в бедной и маленькой квартирке, с болезненной, медленно умирающей Фанни на руках, и жизнь эта, к несчастью, длилась еще много лет. Уличные певцы пели под ее окнами:

Je vous revois, et le temps rapide
 Ternit ces yeux où riaient les amours...
 Résignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,
 Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté,
 Tout a péri: vous n'êtes pas déesse,
 Déesse de la Liberté...

Но знала ли она, что все это относится к ней? Нет, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и без Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось действительно одно — покоряться судьбе да употреблять остаток сил на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть как-нибудь обеспечить ее после своей смерти. Она всячески хлопотала об устройстве судьбы Фанни, писала завещание, прося добрых людей о ней да еще о своих похоронах, — о том, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятник на ее могиле». И Бог дал ей под конец хотя и одно, но великое утешение: все-таки Фанни пережила ее, — Фанни успокоилась вот в этой самой могиле, что передо мною, через полтора месяца после ее смерти...

А может быть, ей бы отраднее знать, умирая, что через полтора месяца она снова будет рядом — и уже навеки — со своею Фанни? Может быть, может быть... Что мы знаем? Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем!

XIII.

Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предание о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы, «Dies irae» и «Смертию смерть поправ»... Остался, есть и во веки пребудет Тот, Кто, со креста любви и страдания, стирает своим убийцам объятия, осталась Она, Единая, Богиня богинь, Её же благословенному царствию не будет конца.

16.V.24

ИОАНН РЫДАЛЕЦ

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно-толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь однако — и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем, что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок, — все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом,

сталью, медью, дрожит от клокочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полшубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желания, с притворным наслаждением крикая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное ни вечернее — в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко — не жарко и в полшубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поровнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост — голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее не мало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся: на одной —

имя князя и вельможи, а на другой — раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа только перед самой кончиной примирился с Богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод, неряшен миру он казался» — говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы!»

Те, что едут в экспрессе на воды, знают о князе — из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал ростом и чудён был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», — сказал князь — и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». — «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» — «А по старому году, сударь, по старому году!» — сказал князь — и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое

приказание — дать полсотни розог Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали никогда. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от Бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послухаться отца. Встал он наране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». — «А за образами» — говорит попов работник. (По нашей местности всегда так — какую записочку, поминание — все туда кладут, а допреж и деньги класть не боялись). Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидал на горе храм Божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал — глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ва-

ней, хотят на сборню везть, думали — бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как страусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать чей-то пеший след пробит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу: вижу лапти новые, а след от одной ноги до другой — боле трех сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» — и был нещадно бит и за ярость свою и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал — и объявился странным, пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жиленый, ходил в одной длинной рубахе из веретья, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке — железный лом и ни летом ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со всклооченными волосами, он гонялся за людьми, — и люди, крестьясь, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, — конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, — князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да

я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю пржеестоко пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню...

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое, быль скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он, когда ему, больному и иссохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твердо сказал: «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре, с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадиллом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадилльный дым над страшными кирпичными могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво

наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святах, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, — она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался» — читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, внушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях, опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой — голубой, прозрачной, в кольцах — прижимая к глазам батистовый платочек.

Капри, 18.2.1913.

ОБРЕЧЕННЫЙ ДОМ

Один из тех зимних мокрых дней, ледяных и темных, когда кажется, что нет на свете города отвратительнее Москвы. И уже вечереет. Иду вверх по Большой Никитской и вижу: впереди, возле старого двухэтажного дома, кучками чернеет на тротуаре и на мостовой народ. Что такое? Издали заметно что-то особенное в том, как эти люди глядят на дом, подходят к витрине часового магазина в его нижнем этаже и о чем-то переговариваются, не обращая внимания на капли с крыши и снежные лужи под ногами. Ускоряю шаги и спрашиваю, что случилось? Оказывается, попадаю на убийство: часовщика, одиноко жившего тут над своим магазином, нашли нынче поутру мертвым — лежит на полу с проломленной головою, весь подплыл кровью... Кто убил — никто не знает: будто бы какой-то большой черный мужчина, часов в семь утра пробежавший тут с топором в руке. Зачем и почему — тоже неизвестно: из вещей у часовщика ничего не взято, а денег у него, говорят, не было... С изумлением осматриваю этот давно знакомый мне дом: как же это никогда до сих пор не приходило мне в голову, что в таком доме непременно должно было совершиться убийство? Эти линючие стены, эта ржавая вывеска над витриной, это мрачное и загадочное выражение черных окон вверху... Подхожу и себе к витрине: внутри темного магазина видны старинные часы, узкие, высокие, красного дерева, бронзовый маятник которых (в виде двух обнявшихся влюбленных) медленно поблескивает, тихо и мерно ходит из стороны в сторону... Потом смотрю на запертую на замок

дверь магазина, под которую натекла с тротуара свинцовая вода, и вспоминаю то, что не раз видел утром, проходя мимо: как этот часовщик, пожилой, невзрачный человек в шубке с вытертым брововым воротником отворял свой магазин, и на него тоже капало с крыши и с вывески...

Сумерки, лужи, грязные сугробы, впереди, вдоль пустой улицы, могильно горят редкие фонари...

1930 г.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

На Фоминой неделе, в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда земля только что вышла из-под снега, когда в степных ложинках еще лежит под голыми дубками серый затвердевший снежок, ходил по одной елецкой деревне, от двора к двору, старик-нищий — без шапки, с длинной холщевой кисой через плечо.

Деревня эта большая, но молчаливая, полевая. Да и вечер такой выдался. Пусто было вдоль бесконечно разлившегося глинистого пруда, на ровном выгоне, где, в тени от изб и пунек, шел, держа в руке высокую ореховую палку, этот лысый и еще черный старик, похожий на святителя. Выгон чисто, ярко зеленел, в воздухе свежело, пруд, выпукло-полный, зеркально-телесного тона, очень хорош был, хотя еще плавала на нем одна бутылочно-зеленая льдина. Где-то на том боку, тепло и ласково освещенном в упор низким солнцем, — где-то, как казалось, очень далеко, — плакал ребенок, заблудившийся за какой-нибудь ригой или амбаром, и мило было слушать по заре его жалобный однообразный плач... Но подавали плохо.

Там, при въезде, возле старого богатого двора с вековыми дубами в грачиных гнездах, за красной кирпичной избой в три связи, подала молодая сероглазая бабочка, да и то пустяк. Стояла она у каменного порога среди подсыхающей весенней грязи, на тугой тропинке, держала сидевшую у нее на руках хорошенькую девочку с бессмысленными голубыми глазами, в разнолоскутном чепчике, и, прижимая ее

к себе, плясала, притоптывала босыми ногами и повертывалась, раздувая ситцевую юбку.

— Вон старик, сейчас в сумку отдам, — заговорила она сквозь зубы, впиваясь губами в щечку девочки: —

Ппайду плясать,
Альни пол хрустит...

И, перевернувшись, переменяла голос на звонкий, кому-то подражающий, кокетливый:

— Старик, старик, не надобно ли вам девочку?

Девочка не испугалась, она спокойно сусолила толстую баранку — и мать, шутя, на все лады, стала уговаривать девочку отдать ее подошедшему и улыбавшемуся нищему:

— Отдай, деточка, отдай, а то мы с тобой во всем дворе одни-одинешеньки, нам и милостинку сотворить не из чего...

И девочка тупо протянула короткую ручку, свой маленький кулачок с зажатой в нем слюнявой котелкой. И нищий, с улыбкой качая головой на чужое счастье, взял и пошел, на ходу закусывая.

Он шел, держа палку наотлет, наготове: то кубарем катится под ноги злая хрипучая шавка — и, докатившись, неожиданно смолкает; то желтый пушистый кобель яростно дерет, кидает землю задними ногами, стоя возле пуньки, и рычит, захлебываясь, с огненными глазами... Подойдя к избе, к маленькому окошечку, нищий смиренно кланялся и легонько стучал батожком в раму. Но часто никто не отзывался на этот стук: еще досевали, допахивали многие, были в поле. И старая крестьянская душа даже втайне радовалась: в поле народ... это время год кормит... не до нищих... А порой за стеклами, в которые постукивал нищий, склонялась сидевшая на лавке с грудным на руках белолицая баба. В окошечке, ма-

леньком, бедном, она казалась очень большой. Ничуть не стыдась, что нищий видит ее мягкую пшеничную грудь, она махала крупной рукой в серебряных кольцах, а ребенок, не выпуская сладкого соска изо рта, лежал, смотрел ей в лицо темными ясными глазами, драл голые каряки в розовых точках от блох. — «Бог даст, не прогневайся!» — говорила баба спокойно. Что до старух, то каждая, болезненно морщилась, непременно высывалась наружу и долго жаловалась, все твердила, что рада б радостью подать, да нечего... все в поле... а без спросу боязно, ее, старуху, и так заглодали... Нищий соглашался, говорил: — «Ну, прости за ради Бога» — и шел дальше.

Он сделал за день верст тридцать и ничуть не утомился: только одеревенели, притупились, стали неладно вилять ноги. Длинный мешок его был до половины набит корками и кое-каким добришком; а под низками, под армяком в больших заплатах, под овчинной курткой и заношенной рубахой, давно висела на кресте ладанка, где зашито было девяносто два рубля бумажками. И на душе у него было покойно. Конечно, стар, худ, выветрился, — рот стянутый, пересохший дочерна, нос как кость, шея вся в трещинах, клетчатая, точно пробковая, — но бодр еще. Глаза, когда-то бывшие черными, гноились и туманились легкими бельмами; да все-таки видели — и полноводный пруд, и розовый свет на избах на том боку, и даже чистое бледное небо. Воздух свежел, слышнее, но как будто еще дальше замирал детский плач, пахло холодеющей травой... Два голубя дружно пронеслись над крышами, пали на глинистом берегу и, подымая головки, стали пить... Давеча на большой дороге, в одиноком дворе, расщедрились бабы: подали большой кусок коленкора и хорошие, совсем еще хоть куда штаны: справил себе ихний малый, да придавило его в яме, в пищеуле, где мужики глину копа-

ли. Теперь нищий шел и думал: не то сбыть их, не то самому надеть, а свои, уж очень непарадные, в поле под межу кинуть?

Кончив деревню, он пошел в короткий переулочек, на выезд в степь. И в глаза ему глянуло лучистое, погожее апрельское солнце, опускавшееся далеко за равниной, за серыми парами и яровыми взметами. На самом выезде, на повороте укатанной блестящей дороги в ту дальнюю притынную деревушку, где думал заночевать нищий, стояла небольшая новая изба, плотно крытая вприческу лимонного цвета старновкой. Ото всех отделясь, поселились тут с год тому назад, — еще щепя валялась кое-где, — муж с женой, люди хозяйственные и приятные, тайком торговавшие водкой. Нищий и пошел прямо к этой избе: штаны можно было продать хозяину ее; да любил он и просто заходить в нее, любил за то, что живет она какой-то своей особенной жизнью, тихой и прочной, стоит на выезде и глядит чистыми окошечками на закат солнца, при котором допевают в холодеющем воздухе свои вечерние песни жаворонки. Под глухой стеной, выходящей в переулок, была тень. А с лица было весело. Прошлой осенью хозяин посадил под окошечками три куста акации. Теперь они принялись и уже опушились желтоватой зеленью, нежной, как на вербе. Обойдя их, нищий вошел через сени в горницу.

Сперва, после солнца, он ничего не видел, хотя солнце и сюда глядело, освещая голубой прозрачный дым, плававший над столом, под висячей жестяной лампой. Выгадывая время для глаз, он долго кланялся, крестился на новую фольговую икону в углу. Потом сложил мешок и палку возле двери на пол и различил крупного мужика в лаптях и оборванном полшубке, сидевшего спиной к двери, на скамейке за столом, а на лавке — нарядную хозяйку.

— Благодать вам Господня, — негромко сказал он ей, еще раз кланяясь. — С прошедшим праздником.

Хотел было спеть «Христос воскрес», да почувствовал, что будет некстати, и подумал:

— А хозяина-то, знать, дома нету... Жалко...

Хозяйка была хороша собой, с ладным станом, с белыми руками, точно и не баба простая. Одета она была, как всегда, по-праздничному: перловое ожерелье, миткалевая сорочка с тонкими вздутыми рукавами, красным и синим расшитая занавеска, шерстяная кубовая юбка в кирпичную клетку и грубые, но крепко и по ноге сшитые полсапожки со стальными подковками. Склонив аккуратную голову, чистое лицо, она вышивала рубаху мужу. Когда нищий поздоровался, она подняла на него твердые, без блеску глаза, пристально посмотрела и приветливо кивнула. Потом, легонько вздохнув, отложила работу, ловко воткнула в нее иголку, прошла, постукивая по деревянному полу полусапожками и виляя задом, к печке, вынула из шкапчика косушку водки и толстую чашку в синих разводах.

— А притомился, однако... — как бы про себя сказал нищий — и в извинение за водку, и слегка смущаясь молчанием не повернувшегося к нему мужика.

Мягко ступая лаптями, скромно обойдя его, он сел на другую лавку, на угол стола, напротив. А хозяйка поставила перед ним косушку, чашку и вернулась к работе. Тогда тяжело поднял голову этот здоровый оборванный степняк, — перед ним зеленел целый полштоф, — и, прищурившись, уставился на своего скромного собутыльника. Может, он и притворялся малость; но все же лицо его воспалено было, глаза пьяны, налиты мутным блеском хмеля, пересмягшие губы полураскрыты, точно в жару: видно, уж не первый день пил он. И нищий слегка подтянулся и осторожно стал наливать свою чашку. Что ж, мол, всякий свое пьет... тут шинок, и мы друг дружке не мешаем. Он поднял голову, и туманно-черные

глаза его цвета спелого терна и весь выветренный и заглубевший в степи лик ничего не выражали.

— Где таскался? — грубо и шало спросил мужик. — Воровать пришел, благо народ в поле?

— Зачем воровать? — ровно и скромно отозвался нищий. — У меня шесть человек детей было, свой дом, хозяйство...

— Слепой, слепой, а, небось, сколько натаскал перьев, прутьев у свою яругу!

— Зачем? Я в черной работе на шахтах харцызских десять лет работал...

— Энто не работа. Энто...

— Ты лишнего не говори, — не возвышая голоса, не поднимая ресниц, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабного не слушаю. От мужа еще не слыхала.

— Ну, молчи, не буду... барыня! — сказал мужик. — Низвините... Я тебя спрашиваю, — сказал он, нахмуриваясь, нищему: — какие такие шахты, когда земля не сеяна, не скорожена?

— Да ведь, конечно... у кого она есть, к примеру...

— Погоди, я тебе умней! — сказал мужик, хлопнув ладонью по столу. — Отвечай на вопрос: в солдатах служил?

— Ундер-цер десятого гренадерского малороссийского генерал-фитьмаршала графа Румянцева-Задунайского полка... Как же так не служил?

— Молчи, не вякай лишнего! В каком году взяли?

— Семьдесят шестом году, в ноябре месяце.

— Ничем не был провинён?

— Никак нет.

— Начальство ублажал?

— Не мог того не делать. Присягу примал.

— А это что за шрам на шее? Понял, ай нет, куда я вижу? — Это я его испытываю, — сказал мужик, угрюмо двигая бровями, но меняя властный тон на

более простой и обращая к хозяйке свое шальное лицо, золотисто освещенное сквозь табачный дым закатом. — Я его насквозь вижу... Не лаптем щи хлебаю!

И опять нахмурился, взглянув на нищего:

— Перед святым крестом-евангелием преклонялся?

— Так точно, — ответил нищий, успевший выпить, вытереться рукавом, сесть опять прямо и придать своему лицу и туманным глазам бесстрастное выражение.

Мужик мутно оглядел его:

— Встань передо мной!

— Не шуми. Тебе сказано, ай нет? — спокойно вмешалась хозяйка.

— Постой ты за ради Бога, — отмахнулся мужик и повторил: — Встань передо мной!

— Да что-й-то вы, ей-Богу... — забормотал было нищий.

— Встать, тебе говорят! — крикнул мужик. — Я тебе вопрос сделаю.

Нищий поднялся и переступил с ноги на ногу.

— Руки по швам! Так. Пачпорт есть?

— Да ай вы урядник, что ли...

— Молчи, не смей так со мной балакать! Я умней тебе! Я сам тянулся. Показывай сию минуту!

Покорно, поспешно отстегнув крючки армяка, потом овчинной куртки, нищий долго рылся за пазухой. Наконец вытащил завернутую в красный платок бумагу.

— Подай сюда, — отрывисто сказал мужик.

И, развернув платочек, нищий подал ему истертую серую книжечку с большой сургучной печатью. Мужик неловко раскрыл ее корявыми пальцами и, делая вид, что читает, далеко отставил от себя, откинулся и долго смотрел сквозь дым и краснеющий свет зари.

— Так. Вижу. Все в аккурате. Бери назад, — с трудом сказал он спекшимися губами. — Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею... меня люди зарезали, я у него, у собаки, в ногах валялся... а мне, может, цены нету... А что наворовал, скажывай, а то убью сейчас! — крикнул он свирепо. — Я все знаю, все призошел... сам в смоле кипел... Жизнь нам Господь дает, а отымает ее всякая гадина... Давай сюда мешок и боле никаких!

Хозяйка только головой качнула и отклонилась от вышивки, разглядывая ее. Нищий пошел к двери, подал мужику и мешок. Мужик взял, положил возле себя на скамейку и, приминяя его, сказал:

— Правильно. Теперь садись, давай побалакаем. Я все эти дела разбюру. Я свою ревизию сделаю, не бойся!

И замолчал, уставившись в стол.

— Вясна... — пробормотал он: — Ах, да разнесчастная субботушка, нельзя в поле работать... Делай! — крикнул он; стараясь щелкнуть пальцами.

Пошла барыня плясать,
Голубые пальцы...

И опять замолчал. Хозяйка заглаживала наперстком вышивку.

— Я корову пойду доить, — сказала она, поднимаясь с места. — Огня без меня не вздувайте, а то еще пожару спьяну наделаете.

Мужик очнулся.

— Господи! — воскликнул он обиженно. — Хозяюшка! Да неужто мы... Об мужу небось скучились?

— Это не твоя печаль, — сказала хозяйка. — Он в городе, по делу. По кабакам не таскается.

— Потаскаешься! — сказал мужик. — Что ж мне, ай под дорогу теперь выходить? Вам, чертям, богатым, хорошо...

Хозяйка, захватив подойник, вышла. В избе темно, было тихо, и розовый свет разливался в темноте, мягкой, весенней. Мужик, облокотясь на стол, дремал, насасывая потухшую цыгарку. Нищий сидел смиренно, неслышно, прислоняясь к темному простенку, и лица его почти не было видно.

— Пиво пьешь? — спросил мужик.

— Пью, — послышался негромкий ответ.

Мужик помолчал.

— Бродяги мы с тобой, — сказал он хмуро и задумчиво. — Сволотá несчастная... побирушки... Мне с тобой скушно!

— Это правильно...

— А пиво я люблю, — опять помолчав, громко сказал мужик. — Не держит, стерва! А то бы я и пива выпил... и закусил бы... у меня язык намок, есть хочется... Закусил бы и выпил... да... А эта, хозяйка, хороша лицом! Мне бы такую-то на пристяжку, я бы... Ну, ничего, сиди, сиди... Я слепых уважаю. Придет престольный праздник, я их, слепых-то, бывало, человек двадцать за стол посажу, у нас двор был — поискать такого-то! Они мне и стих споют и поклоняются... Стихи можешь петь? Про Алексея Божьи человеки? Я этот стих долюбую. Бери чашку, — своей угошу...

Взяв из рук нищего чашку, он поднял ее на слабый свет зари и налил до половины. Нищий встал, низко поклонился, вытянул чашку до дна и опять сел. Мужик потащил к себе на колени его мешок и, развязывая, забормотал:

— Я тебя сразу понял... У меня, брат, денег хватит, я тебе не ровня... Я их хладнокровно проживаю... пропиваю... В год по лошади пропиваю, по хорошему барану прокуриваю... Ага! Наколелся на мужичка, понял, кто я такой? А мне тебе жалко... Я понимаю! Вас, таких-то, тыщи весеннее время идут... Грязь, чи-чер, ни путя ни дороги, а ты иди, кланяйся... да еще

не то дадут, не то нет... Брат! Разя я не понимаю? — спросил мужик горько, и глаза его налились слезами.

— Нет, вешнее время ничего, хорошо, — тихо сказал нищий. — Идешь полем, большаком... один, как есть... Опять же солнушко, тепло... Правда, большие тысячи нас таких-то идут.

— Я две лошади пропил, — сказал мужик, выгребая из мешка корки, вытаскивая жилетку, коленикор, штаны и лапоть. — Я все твои хрунки, лохмотья несчастные разберу... Стой! Брюки! Это я у тебя, с деньгами справлюсь, обязательно куплю... Сколько?

Нищий подумал.

— Да я бы за два отдал...

— Трояк дам! — сказал мужик, поднимаясь, подсовывая под себя штаны и садясь на них. — Мои! А лапоть где другой? Совсем новый, — значит, обязательно украл... Ну, да уж лучше воровать, чем так-то, не хуже меня, сердце себе терзать вешнее время, с голоду околевать, сенцы последние раскрывать, когда последний пастух, и тот при делу... Я лошадь пропил, а она, скотина-то, дороже человека стоит... Ай я не пахарь, не косец? — А теперь пой стих, а то убью сейчас! — крикнул он. — Мне с тобой скушно!

Дрожащим, скромным, но привычным голосом нищий запел из темноты:

Жили-были братья рѳдные,
Богом-Христом братья сводные...

— Ах, да и своднаи! — высоко и жалостно подхватил мужик, надрываясь.

Нищий ровным церковным напевом продолжал:

Один беден-скуден,
У гною-проказе...

— А другой бога-атый! — не в лад, заглушая его, со слезами в голосе подхватил мужик. — Сердитей! — крикнул он, срываясь. — Мине горе съело, у

всех людей праздник, у всех людей севы, а я грызу землю, она, родимая, другую весну у меня пустуя... Поддай сюда чашку, а то убью сейчас! Открой мне окошко!

И опять нищий покорно подал чашку. Потом стал отворять окно. Новое, оно забухло и долго не подавалось. Наконец, подалось, распахнулось. Свежо, хорошо запахло полем. Поле было уже совсем темно, розовая заря потухла, чуть реяла над мягкой тьмой его, тихого, счастливого, оплодотворенного. Слышно было, как допевали свои самые последние песни полусонные жаворонки.

— Пой, Лазарь, пой, родный мой братец! — сказал мужик, протягивая нищему полную чашку. — Оба мы с тобой... Только что ты передо мной? Бродяга! А я рабочий человек, всех страдающих поилец-кормилец...

Он тяжело, срыву сел и опять полез в мешок.

— А это что у тебя такое? — спросил он, разглядывая коленкор, чуть порозовевший от едва уловимого света зари.

— Так... бабы подали, — сказал нищий тихо, чувствуя, что от хмеля все плывет под ним, что пора уходить, и что надо как-нибудь вытянуть из-под мужика штаны.

— Как — так? Брешешь! — крикнул мужик, ударя кулаком по столу. — Это саван! Вижу! Это гробный саван! — со слезами крикнул он, отпихнул от себя мешок и, замотав лохматой головой, заплакал: — Возгордился я на Бога! — горько сказал он, плача.

И, натуживаясь, ладно, сильно запел:

Зародила-сохранила меня мать,
Непростительного!
Все муки приызашел,
Все печали приызашел,
Нигде счастья не призрел!

Говорила мне мать,
Приговаривала:
Кабы знала-ведала,
Такой чады никогда
Не стерпела бы...

— Душа моя грешница, веретенница! — дико закричал он, плача, и вдруг с жутким хохотом захлопал в ладоши: — Нищий человек, отдай мне свои деньги! Я тебе насквозь знаю, я тебе насквозь чую — отдай! Знаю, что есть! Не может того быть, чтобы не было, — отдай за ради самого Господа-Бога!

И, шатаясь, поднялся, и у нищего, тоже поднявшегося, отнялись ноги от страха, заныло в ляжках. Заплаканное лицо мужика, чуть видимое в сумерках, было безумно.

— Отдай! — повторил он сразу охрипшим голосом. — За ради Царицы Небесной — отдай! Вижу, вижу — за грудь, за пельки ухватился, — значит, есть, — у вас у всех есть! Отдай — тебе все равно ни к чему, ты в гробу одной ногой, а я навек человеком стану! Отдай добром, — брат, родный, не доводи до греха!

— Никак нет, — тихо и бесстрастно сказал нищий.

— Как?

— Никак нет. Двадцать лет собирал. Не решусь.

— Не отдашь? — сипло спросил мужик.

— Нет, — едва слышно, но непоколебимо сказал нищий.

Мужик долго молчал. В темноте было слышно, как у обоих стучали сердца.

— Хорошо, — с безумной покорностью проговорил мужик. — Я тебе убью. Пойду, найду камень и убью.

И, шатаясь, пошел к порогу.

Нищий, прямо стоя в темноте, широко и медленно перекрестился. А мужик, быком склонив голову, уже ходил под окнами.

Потом послышался хруст, — видно, он выдирал камень из фундамента.

И через минуту дверь снова хлопнула — и нищий вытянулся еще более.

— Остатний раз тебе говорю... — пробормотал мужик спаленными губами, подходя к нему с большим белым камнем в руках. — Брат...

Нищий молчал. Лица его не было видно. Размахнувшись левой рукой и поймав нищего за шею, мужик крепко ударил его в откачнувшееся лицо холодным камнем. Нищий рванулся назад и, падая, задевая лаптем стол, стукнулся затылком об лавку, потом об пол. И, навалившись на него, мужик стал яростно, сдавив в груди дыхание, перебивать ему камнем горло.

Через десять минут он был уже далеко в темном ровном поле. Было звездно, свежо, металлически пахло землей. Совсем трезвый, он шел так быстро и так легко, что, казалось, можно было еще сто верст пройти. Ладанку, сорванную с креста нищего, он крепко держал в кулаке. Потом вдруг швырнул в темные взметы. Глаза его стояли по-совиному, зубы были стиснуты, как клещи. Раскрытую голову, — шапку он не нашел в темноте, хотя искал долго, — обливало холодом. Она была как каменная.

Капри, 31.1.1914.

Я ВСЕ МОЛЧУ

Молодым Александра Романова все звали Шашей, жил он тогда с отцом, в селе, в доме под железной крышей, а бил его отец, Роман.

Роман мнил себя первым человеком в округе, самим господам-дворянам совал руку при встрече. Была у него лавка в селе, мельница за селом, а богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб. Макару, родному брату его, есть было нечего, он, оборванный плелся по выгону и смиренно говорил, снимая шапку: «Здорово, брат!» А Роман, сытый, похожий на дьякона, отвечал ему с крыльца: «Ты меня, дуралей, не обращай. Брат, брат! Поклонись да иди, куда шел, а в разговоры не лезь». Что же должен был чувствовать единственный наследник такого человека? Он по селу гулял в поддевке тонкого сукна, в сапогах с лакированными голенищами, наигрывал польки на дорогой ливенке. Встречались ему девки и ребята и провожали его теми взглядами, от которых у людей известных мурашки бегут по спине. Но мрачным и даже свирепым взглядом встречал он эти взгляды: вся молодость его прошла как бы в приурочении себя к той роли, в которой достиг он впоследствии такого совершенства.

Роман на вершине благополучия стал слабеть, запутываться в делах. Сивый, бородатый, длиннопузый, в казинетовой поддевке, похожей на подрясник, он только во хмелю бодрился, а трезвый был уныл и нарочито груб. Слава и могущество еще были у него. Он на выгоне возле церкви, против своих окон, выстроил школу, был попечителем ее и в любую ми-

нугу мог заставить учителя в ногах у себя валяться. Он еще мог угостить гостя шпротами, кислым омаром в ржавой жестянке, цимлянским и, угощая, покрикивал на кого попроще: «Пей, глупец!» Но пора, пора было сменить его. А кому? Смены-то и не было. Шаша все больше втягивался в свою роль, роль человека, чем-то кровно оскорбленного, — и отношения между ним и Романом сводились только к тому, что Роман таскал его за «виски». Шаша, по его словам, ангела мог вывести из себя, не таскать его нельзя было. И он таскал. А чем больше таскал, тем все нестерпимее становился Шаша.

Ему ли было не гордиться домом, могуществом и повадками отца! Отец при гостях кричал на него: «Да будь ты маленько поразвязней, дуралей!» Но ведь это была повадка тех, кому подражал отец, повадка купцов, а разве не высшая гордость — чувствовать себя купеческим сыном? Отец даже хвастался им порою, самодовольно говорил гостю: «Постой, я тебе сына покажу!» — и горланил на весь дом: «Шаша, подь суда, тобой Миколай Михайлыч антересуется!» Но, ах, как входил Шаша в комнату, где сидел гость с отцом! Он входил, багровея, глядя из-под насупленных и перекошенных бровей, руки держал туго, кренделем, ступал еще туже, внутрь носками и так щеголевато, точно пятаю фигуру кадрили танцевал, а шаркнув гостю, тотчас же отскакивал к окну, к притолке, раздувая ноздри, кусал заусеницы, на вопросы отвечал с нелепейшей краткостью и резкостью. Как же было не бить его? Гость уезжал: Роман, проводив его, молча подходил к Шаше и, размахнувшись, крепко сгребал Шашу за волосы. Шаша молча вырывал голову из его пятерни и, выскочив в прихожую, бил себя кулаком в грудь:

— Ну, папаша! Я молчу! Я все-е молчу! — шипел он зловеще.

— Да животная ты этакая! — орал Роман. — Ведь за это за самое молчанье да ломанье я и бью-то тебя! Значит, ты сам того добиваешься? Зачем? Почему?

— Прах моей могилы все узнает! — отвечал Шаша яростно и загадочно.

Он ли не в рубашке родился! Деньги у него не переводились, одевался он щеголем, ухаживал на вечеринках за кокетливыми поповнами, за дочерьми станового, танцевал с ними под аристон. Но и ухаживал он как-то едко, срыву. Да что! Даже наедине с самим собой, глядясь в зеркало и взбивая металлическим гребешком свое бурое руно, изверски косился он. Нос у него был раздавленный, голос хриплый, вид каторжный, мужики называли его палачом. Кажись, не велика честь! Так нет, он и этим наслаждался. «Подколотый дьявол! — говорили мужики. — Все ему не нравится, все не по его, не так!» И он изо всех сил старался оправдать эти клички. «Хто? Это Шаша-то подколотый? — спрашивал Роман с негодованием. — Да такими подколотыми хоть мосты мости! Он дурак, ахтер, лодарь прирожденный и боль ничего. Чего он карежится? Какого ему рожна надобно?» А Шаша глядел с ядовитой усмешкой да помалкивал. «Ну вот, глянь, глянь на него! — говорил Роман. — Глянь, что он строит из себя!» А Шаша все выше косил брови и уже сам верил, что закипает в нем что-то ужасное. «Ох, папаша! — шипел он, как бы не выдержав. — Ох, сказал бы я вам одну штуку!» Роман, унылый, с обвислыми мешками под глазами, страдальчески ухмылялся: «А что же это за штука такая? У? Ну-ка, скажи?» — «Это я-то?» — спрашивал Шаша, кидая взгляд исподлобья. — «Да. Ты-то». — «Прах моей могилы все узнает!» — «Да узнает-то? Ты пьян, негодяй?» — «Пьян! — отвечает Шаша. — Пьян! Я молчу! Я все-е молчу!» — И, чуть не плача, Роман опять вставал на него, как медведь, опять ловил за голову и таскал с мучительным упоением.

Он женился и чудесно — на дочери управляющего барским именем, смешливой и хорошенькой веснущатой девице. Женитьбу его праздновали удивительно. Господа жили за границей, поэтому венчаться ездил Шаша в господской карете, и священник, из уважения к ней, поздравлял его с законным браком так изысканно, что казалось Шаше, что над ним издеваются. В господском доме шел и свадебный пир. Вино рекой лилось, Роман, при общих восторженных кликах, плясать пошел, сотрясая паркет, зеркала и люстры. Господский лакей превосходно изобразил поезд: гремуче засвистал в пальцы, затем начал медленно и тяжело отбивать грохот все расходящегося поезда и кончил буйным галопом. Дьячок, опившись на пиру коньяком, по дороге домой помер. Дьякона, на собственном дворе упавшего в навоз, едва не затоптали овцы. Мерзейший осенний рассвет бледно синел из тумана в господские дымные залы, а там все еще горели огни, все еще захлебывался охрипший аристон то «Лезгинкой», то «Вьюшками», все еще кричали мокрые от жары и хлопот шаферá, управлявшие танцами, и у барышен мутились глаза от усталости, от пляса. Но Шаша и собственного торжества не пощадил: притворясь пьяным, убедив себя, что он адски притворивал свою молодую жену к одному молоденькому помещику, он внезапно наступил во время вальса ей на шлейф, с треском оторвал его. А затем кинулся к ножу, пытался резаться и, будучи обезоружен, дико рыдал и рвал с себя белый галстук, взывая к памяти покойной матери.

Достигнув вершины, Роман неминуемо должен был, как это всегда водится, покатиться опять вниз, в прежнее мужицкое логово. Вскоре после свадьбы оказалось, что он весь, с руками и ногами, запутан в долговых тенетах. Он стал страшен. Сивая борода его побелела. Лицо уподобилось грязно-серому выдоенному вымени. Глаза околели. Брюхо обвисло, издряб-

ло. А Шаша злорадствовал: «Я говорил, говорил!» — и добивал его: бушевал, скандалил, требовал раздела. И Роман, зеленея от злобы, медведем вставал на него, жаждал изувечить — и уже не мог, не мог! Пришибленный мыслью о близком позоре, нищете, он пьянствовал на сломную голову. Потеряв всякий стыд, он в дом перетащил свою любовницу, солдатку кухарку. Жил с нею, на зло ему, и Шаша. А жену он изнурял ревностью и страхами, — пропадал из дому и присылал ей с мужиками записки, где стояло: «Прощай навеки, благословляю детей», а внизу нарисована могила с крестом. Кончилось тем, что Романа разбил удар, что осталась от всего его богатства одна ветрянка за селом, что жена Шаши, забрав детей, бежала к какому-то своему любовнику.

Из села, на мельницу, вышел Роман нищим и еле живым. Нищим и вдовым, скрипя зубами в ярости, вышел за ним и Шаша. Можно было не плохо жить и мельницей. Но до того ли было Шаше! И прежде-то ему, непонятому, неоцененному, осужденному жить среди врагов, недоброжелателей, оставалось только одно: молчать, молчать! А теперь? Вот он тысячи мог бы нажать на одной этой мельнице, к ней ни проходу ни проезду не стало б от телег с зерном, будь у него хоть две, три сотни на новый стояк и новые жернова. Да где их взять? Это ведь только дуракам счастье само в руки прет, а дельного, умного судьба в бараний рог карежит!

Для Романа дело было вовсе не в том, что, вместо шпротов и цимлянского, на столе его очутилась краюха черного хлеба и корец с водой — он ел бы с прежним вкусом: дело было в страданиях гордости, самых лютых человеческих страданиях. В большой покосившейся избе с земляным полом и дырами в углах, на холодной печи спал теперь Роман. Утром он вылезал за порог с высокой палкой в руке. Лебедой и бурьяном зарастала снаружи изба, крапива глушила огромный

остов раскрытой ветрянки. Все это стояло на голом горбе полей, у проезжей дороги. И Роман выходил под дорогу и клал дрожащие, холодные лапы на палку. Он был без шапки, ветер путал его седые космы, седую бороду — бороду мужицкого Иова. Он был бос, в затрапезных портках, в длинной рубахе, грязной от золы, от печного сора. Ноги его были тонки, туловище велико и худо. Ехали те, что знали его в славе и богатстве, те, что прежде трепетали его, те, кого угощал и поучал он когда-то. И Роман, — не даром же породил он Шашу! — даже радовался, что видят его люди в нищете, позоре и до земли кланялся им. Шаша, тот упивался своим унижением по шинкам и кабакам, пропивая скудные остатки прежнего и расплачиваясь за свой язык синяками уже от мужицких кулаков. Особенно страшной муки добивался он ежегодно пятнадцатого июля.

Роман к тому времени уж помер, — ах, как злобно горд был этим Шаша! Воротился со службы муж солдатки. Нужна она ему была как летошний снег, но все-таки он счел непременно долгом своим мстить за свою поруганную честь, узнав что она была любовницей Романа и Шаши. И мудро приурочил эту месть ко дню большого многолюдства в селе.

Ежегодно пятнадцатого июля, на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. Льют холодные ливни, о лете напоминают только грачи в полях, густота хлебов и трав да жаворонки, распеваящие над ними под дождем, вкось сдуваемые ветром. А на выгоне села уже растет кочевой городок палаток. Приехали торгаши из города — и с непривычки странно видеть в селе этих городских людей в длиннополых сюртуках — они, застраивая и делая тесным выгон, изменили простую сельскую картину своими крепкими телегами с товаром, покрытым кожами и ладно увязанным, привезли вместе с этим товаром базарный запах — дымят самоварами, чадят

жаровнями, на которых жарится баранина. С раннего утра пятнадцатого они уже стоят за прилавками, заваленными жамками, рожками и красным товаром, а мужики с бабами и ребяташками едут и едут, отовсюду тянутся под мелким дождем к селу, запруживают возами выгон так густо, что иголке негде упасть, а надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит праздничный звон к обедне.

Под этот звон, на глазах едущих по грязному проселку мимо ветрянки, Шаша стоит возле своего порога, распояскай, согнувшись, держит в одной руке корец с водой, а другой, мокрой, трет свое бородатое, корявое, распухшее со сна лицо. Как не похож этот коренастый мужик в разбитых сапогах на прежнего Шашу! С виду он стал спокойнее, но еще мрачнее, чем прежде. Волосы его и теперь страшно густы, но уже стали по-мужицки лохматы. Умывшись, он раздирает их деревянным овечьим гребнем, расчесывает спутанную круглую бороду, хрипло откашливается и косится в зеркальце — на свое широкое, пористое, с раздавленным носом лицо. Он не забыл, что он похож на палача. И точно — похож, теперь особенно: причесавшись, он надевает хранимую для торжественных случаев линючую кумачную рубаху. В будни он тупеет от скуки, от долгого сна, от того, что никто не обращает внимания на него, никто его не слушает: его хвастовство своим прежним богатством, его намеки на то, что будто бы таится у него в душе, и гнусные рассказы про сбежавшую жену давно всем надоели; нынче же — праздник, нынче он будет играть перед огромной толпой, нынче он будет страшно, до беспамятства избит на глазах этой толпы — и вот он уже входит в свою роль, он возбужден, челюсти его крепко сжаты, брови искажены... Нарядившись, он надевает рыжий картуз и тугим шагом, решительно и твердо идет в село.

Страннее всего благочестие, с которого он начинает этот день. Он направляется прямо к церкви и, ни

на кого не глядя, но всем существом чувствуя на себе взгляды окружающих, с размаха кланяется и крестится. В церкви он продирается к самому амвону, где стоял когда-то по праву, и в эту минуту до мозга костей презирает мужиков, напоминает им кратко и строго, как власть имеющий, что не мешало бы догадаться посторониться. И мужики торопливо сторонятся. Быком, исподлобья глядя на священнослужителей, на иконы, он до самого конца обедни истово и сурово молится, надменно показывает всем, что только он один знает, когда именно нужно кланяться и креститься. Так же сурово ходит он и по ярмарке, после обедни, гордится тем, что он уже выпил, что он может подойти как равный к торгашу под палатку, поздороваться с ним за руку, облокотиться на прилавок, взять горсть подсолнухов и мешать торгашу разговорами о городе, о торговом деле, а порою прикрикнуть на девок, которые стадами, как овцы, давят друга друга к прилавку, на мужика, который с мешком под мышкой, — в мешке ерзает поросенок, — перепробовал уже все свистульки, все губные гармоньи и никак не может решить, какую взять. Народ, вылившийся из церкви, затопил весь выгон, на колокольне трезвонят, нищие гнусаво горланят, скотина, которою тоже торгуют на Кирики, блеет и гогочет, — и среди густой толпы, плюющей подсолнухами и скользящей по грязи между палатками, уже много пьяных. Шаша успел еще выпить и чувствует: пора! Наговорившись с торгашами, он решительно шагает к каруселям. Там сгрудилось несчетное количество народу, до головокружения глядящего на мелькающих кольцом деревянных коней и на их всадников. Там чуть не все село и головой выше всех — солдаткин муж. У Шаши холодеют руки, дергаются губы, но он делает вид, что не замечает своего врага. Он подходит к знакомым, громко говорит, хохочет, а сам ждет, на чеку. И вот, шатаясь, притворяясь вдребезги пьяным, в новом картузе,

на котором еще белеет лавочный билетик с ценой, выбритый, сытый, с сонными синими глазами, солдат идет прямо на него и со всего размаху, как будто ничего не видя, бьет его плечом в грудь. Шаша, стиснув зубы, сторонится и продолжает беседу. Но солдат возвращается, опять проходит мимо и опять — раз его плечом в грудь! Тогда, как бы не выдержав такой наглости, Шаша с упоением искажает свое и без того искаженное лицо и сквозь зубы говорит:

— О-х, малый! Как бы я не толкнул тебя по-своему!

И вдруг солдат, сразу осадив свое наклонное стремление вперед, отшатывается назад и бешено взрывает:

— Што-о?

Среди ярмарочного гама, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавленной толпы, солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша, норовя, по старой мужицкой манере, запустить ему пальцы в рот, разорвать губы, зверем кидается на него и тотчас же замертво падает в грязь, под кованые каблуки, тяжело бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, в глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется: вот настырный, непонятный человек! Ведь он же знал наперед, чем кончится дело! Зачем же он шел на него? И правда: зачем? И к чему вообще так настойчиво и неуклонно идет он, изо дня в день опустошая свое разоренное жилье, стремясь до тла искоренить даже следы того, что так случайно было создано диким гением Романа, и непрестанно алкая обиды, позора и побоев?

Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим и ско-

моршешским, — Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися щелками незрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах, где замуровали их еще при киевских князьях и откуда вышли они в полуистлевшем рубище, крест-накрест возложили на свои останки нищенские сумы, на веревочных обрывках повесили их через плечо и пошли себе странствовать из конца в конец Руси, по ее лесам, степям и степным ветрам. Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, равно как и руки. Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки жолудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть... И все это, на показ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древне-церковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который, в жажде нищеты и мученичества, ушел из-под отчего крова «ня знамо куда...»

Все эти люди, двигая бровями над своими темными очами, наитием, инстинктом, острым, точным, как у каких-нибудь первичных особей, мгновенно чувствуют приближение дающей руки и уже не мало нахватили огрызков хлеба, баранок и зеленых от махорки мужицких медяков. После обедни, с пением, уже

более бодрым и требовательным, они растекаются по народному морю, по ярмарке. Двинулись за ними и калеки — безногие, ползающие на задах и четвереньках и лежащие на вечном одре, в тележках. Вот одна из этих тележек: в ней — маленький человечек, лет сорока, по ушам повязанный бабьим платком, со спокойными молочно-голубыми глазами, высунувший из ветошек тонкую фиолетовую ручку с шестью пальцами; возит его живоглазый мальчишка, с очень острыми ушками и лисьим пухом на голове. Вот мужик с большим белым лицом, весь изломанный, исковерканный, совсем без зада, в одном прелом лапте. Верно, и его, — не хуже Шаши, — били где-то: весь платок его, ухо, шея и плечо в засохшей крови. В длинном мешке — куски сырого мяса, вареные бараньи ребра, корки и пшено. А сиденье подшито куском кожи — и вот весь он искривился, заерзал и пошел чесать задом по грязи, выкидывая вперед необутую ногу, до половины голую, в известковых струпах, сочащихся гноем и залепленных кусками лопуха.

— Гляньте, православные, гляньте скорее: йето считается, по старинному заведению, болезнь проказа! — развеселым, быстрым речитативом вскрикивает возле него рябой оборванец, его импрессарио.

И вот к этим-то людям и шел Шаша. Живет он еще три-четыре года на мельнице; встречает еще три-четыре ярмарки; вступает еще три-четыре раза в бой с солдатом; поливают его, бездыханного и безгласного, водой из жбанов добрые люди; он медленно приходит в себя; не раскрывая глаз, возит по земле мокрой головой и сквозь зубы тяжело стонет:

— Нну, добрые люди! Я молчу! Я все-е молчу!

Затем его везут на мельницу, он недели две лежит на печи, понемногу оправляется и вскоре уже опять гуляет по шинкам, хвастается, лжет, все и всех шельмует, бьет себя кулаком в грудь, грозит всем своим

врагам и особенно — солдату. Но однажды выпадают несчастливые Кирики: солдат переламывает ему каблуком руку и раздробляет переносицу, выбивает глаза. Вот Шаша и слепой и калека. Солдатка бросает его; мельницу, землю берут за долги добрые люди. И Шаша — у пристани: теперь он равноправный член, кость от кости, плоть от плоти нищей орды, стоящей на Кирики в церковной ограде. Босой, в лохмотьях, густо-бородый, с головой, стриженной ежом, в мешках крест-накрест, дико ломает он брови над выбитыми и затянувшимися глазами и сипло орет в лад с прочими за душу хватающие нищенские стихиры. Хор мрачно дерет кто во что горазд — звонко выделяются голоса поводырей, выкрикивающих каждый слог:

Три сестры жили, три Марии Египетские были
 На три доли свою богатству делили:
 Одну долю отделили на незрящее тело,
 Другую долю отделили по тюрьмам, темницам,
 Третью долю отделили по церквам, соборам:
 Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
 Сокрасьте свою душу усердным подаяньем,
 Эта ваша подаяния на первом присутствии будет,
 Как свеча перед образом-Богом!

Вступает и выделяется резкий голос Шаши:

Придеть время,
 Потрясется земля, небо,
 Все камушки распадутся,
 Пристолы Господни нарушатся,
 Солнце с месяцем примеркнет
 И пропустить Господь огненную реку!

И сливаясь, сходясь, достигая зловещей силы и торжественности, зычно горланит весь хор:

Михаил Архангял
Тварь земную поморить,
Он вструбить в трубы,
Возглаголить людям:
Вот вы жили-были
Своей вольной волей,
В церкви не бывали,
Заутреню просыпали,
Позднюю обедню прожирали:
Вот вам рай готовый —
Огни негасимые,
Муки нестярпимые!

14.9.1913.

К РОДУ ОТЦОВ СВОИХ

Дивны дела Твои, и душа моя
вполне понимает это.

Псалтирь

I

На раннем рассвете, почти в темноте и в густом тумане, привезли из города пожилую черничку и огромный гроб, черный с белыми крестами, который полулежал возле нее в тарантасе, упираясь узким концом в козлы, а широким в полуоткинутый верх. Пустой, по-осеннему мертвый двор усадьбы, по которому туман шел из сада сонным, мрачным дымом, весь серел крупной сизой изморозью. Дом за туманом рисовался темно и смутно, казался нежилым, угрюмым. И зловеще краснели в его дальнем, крайнем окне огни трех свечей. От бессонной ночи черничка и кучер промерзли до костей, похудели, были бледны, безжизненны. Кучер поехал от крыльца к каретному сараю — отпрягать отупевших от долгой дороги, обросших туманом лошадей. Черничка прошла через темные сени и вошла в сумрак, в сонное тепло дома. Девка, спавшая на конике в прихожей, испуганно вскочила и села, ничего не понимая. Но через минуту она уже говорила оживленным и дружественным шопотом, помогая черничке раздеваться и расспрашивая, очень ли та озябла, когда выехали из города и сколько дали за гроб. Она зажгла и отнесла в зал, где со всех сторон были заперты двери, керосиновую лампу, запалила на окне в прихожей зашумевшую спиртов-

ку... И когда тепло и душисто запахло кофе, черничка, крестясь и садясь за стол, почувствовала несказанную сладость жизни.

Все в доме еще спали, измученные горем и тем беспорядком, что внезапно воцарился в нем с роковой прошлой ночи.

— И барыня, слава Богу, заснули, — шопотом говорила девка, подавая хлеб и масло. — Не приведи Бог, как плачут, убиваются!

Черничка, намазывая хлеб маслом, спросила:

— А он где лежит-то?

Девка неопределенно и боязливо кивнула на запертые двери:

— За маленькой гостиной.

— Один?

— Один. Сперва при нем старик был с нашей деревни, да у них молотилка сломалась, он и бросил читать, ушел ее чинить.

Черничка неодобрительно качнула головой:

— Не хорошо. Одному покойнику нельзя лежать...

И она жадно стала пить горячий кофе, поглядывая на эти высокие, таинственно закрытые двери. Он был где-то там, за ними, в глубине дома. Он лежал и ждал ее, и в уме ее уже привычно звучало:

— Как овец, заключает их в преисподнюю... Смерть будет пасти их... Могила жилище их... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

Огонь в лампе пожелтел, в зале светлело, туман за окнами стал голубой, прозрачный. Вновь наступающий день сулил живым только привычную сладость земных дел и забот. Для него, для того, кто еще позавчера сидел вот за этим столом, а теперь лежал и ждал черничку, это был последний, самый последний день на земле. Могут потом проходить века, тысячелетия — все равно: его, бывшего хозяина это-

го дома, уже никогда не будет. Нынче, даже сейчас, как только все проснутся, его навеки, до скончания времен, положат в то, ни на что в мире не похожее, всему миру чуждое и враждебное, что всю ночь тряслось рядом с черничкой в тарантасе, покачиваясь и постукивая в тумане и мраке по осенней промерзлой дороге. Но черничка не думала об этом, — с радостью отогревалась, с наслаждением пила и ела, с удовольствием соображала, что сейчас надо приказать внести гроб в дом, позвать работников и заставить их сделать все, что полагается, не как попало, а под своим наблюдением.

II

Утро наступило ясное, тихое. Часам к девяти все нужное было сделано. Теперь всем осталось только ждать следующего утра. И вот он течет, длится, этот последний, самый последний день.

С позапрошлой ночи усадьба вдруг стала доступна для всякого. Смерть широко распахнула двери пораженного ею и лишившегося своей обычной сокровенности человеческого гнезда. И вчера весь день шли и шли в усадьбу все те, что почему-то желали взглянуть на покойника, — всякие проезжие и прохожие, калеки и нищие, мужики и бабы (не только свои, но и чужие, заречные). Идут они и нынче. Без спросу, без стеснения подходят они к парадному крыльцу, возле которого стоймя стоит и так и бьет в глаза своими страшными очертаниями и своей высотой черная с белым крестом крышка, заглядывают внутрь настежь растворенного дома, в пролет его больших горниц, входят, идут и доходят до той, самой последней, которая превратилась теперь в некое подобие часовни: там пугливо и любопытно толпится и смотрит народ, там певуче и немолчно звучит горестный и по-

корный голос — «ибо Ты возвращаешь человека в тление... ибо Ты говоришь: возвратитесь, сыны человеческие... ибо перед очами Твоими тысяча лет как день один», — там, среди белого дня, при солнце, которое косо заглядывает в окно, выходящее в сад, оранжевым прозрачным пламенем горят толстые свечи, тонко синее литургически-пахучий дым ладана, еще не рассеявшийся после панихиды, а весь угол занят огромным смертным одром: составленными столами и пышным в своей мрачной и великолепной новизне, до половины покрытым парчевой ризой гробом, возглавие которого поражает чудовищно и безобразно распухшим фиолетовым ликом в крупных и сквозных серых усах, круто поднятой и закаменевшей под выпирающей крахмальной манишкой грудью с высоко и неуклюже лежащими на ней в вылезших манжетах руками, толсто налитыми лиловым воском, и сиреневыми ногтями их.

А вокруг дома, в усадьбе, все полно осенней прелести. В розовом саду квохчут сытые дрозды, стоит блаженная тишина, тепло, кротость, медленно падают легкие листья. На дворе сладко дремлют борзые. На желтом соломенном скате крыши сидят, хохлятся против солнца белоснежные голуби. Над людской избой буднично и спокойно тянется к бледно-голубому небу серый дымок, из ее раскрытых окон приятно пахнет кухонным чадом, слышны голоса и смех праздных работников, своим куреньем и бездельем раздражающих кухарку, обремененную большой и сложной стряпней на завтра.

А на деревне, на гумнах ладно выбивают дробь цепы, мерно и однообразно стучат веялки, ровно гудят молотилки, обещаая жизнь долгую, мирную, благоденственную. Все дорожат и наслаждаются каждой минутой чудесной погоды и дружной, спорой работы. С веселым ревом, неустанно и густо засыпая гумно

дымящейся соломой, беспощадно сокрушаемой и извергаемой мощным зубастым барабаном, снова гудит новая рязанка Семена: он богат и горяч, — в один миг добыл мастера и поправил ее, и теперь сам подает и думает, что уж нет, шалишь, больше не доверит он дуракам сыновьям машину.

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род... Но человек в чести не будет: он уподобится животным, которые погибают...

Семен знает это лучше всякого... и, весь серый от пыли, от мякины, с кровавыми, воспаленными глазами, с хоботьем в бороде, отклоняя потное, засыпанное и разъедаемое сором лицо от зерна, остро бьющего из-под бешено рвущего и ревущего барабана, только успеваешь покрикивать:

— Бабы, подавай! Бабы, веселей!

III

Ночью светит молодая туманная луна. Легкая дымка стоит в светлом, мертвом, беззвучном саду. На гумне, не нарушая тишины, а только еще больше давая ее чувствовать, жалобно тьявкает совка.

Тишина, пустота и на дворе усадьбы, одиноко краснеет окно в людской избе. Работники за ужином, по случаю покойника, выпили. После ужина они сидели и курили, уже вялые, позевывая.

А там, в доме, в этой страшной горнице, похожей на часовню, стояла благоговейная тишина. Только дрожал, дрожал сонный сумрак в углах, чуть потрескивали, нагорая и оплывая горячим воском, свечи, и то блистал, то темнел под их ярким, но неровным пламенем сизый чудовищный лик с розовой ватой в ноздрях. И однообразно, кротко и укориженно звучал певучий женский голос:

— И мудрые умирают, равно как невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество другим...

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами...

— Но человек в чести не будет; он уподобится животным, которые погибают... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

— Обратись, Господи! Научи, как исчислять дни наши, дабы нам приобрести сердце мудрое...

IV

На утро все проснулись с одной мыслью: нынче! И колокол уже звал, звал.

Утро было особенно прекрасно. Особенно тих и счастлив был розовый сад, медленно выходявший из голубого тумана, таявшего от солнца.

Но колокол звал, звал. И опять шли и шли через двор. Какая-то длинная женщина в серой шали зачем-то вела с собой двух своих девочек, шедших покорно, с любопытно расширенными глазами.

Последним пришел лесник, старый друг покойного по молодости и по охоте.

Он шел через сад, по сухой земле липовой аллеи, где было так тихо, что слышен был каждый падающий листик, и тонко пахло и сладким ароматом листвы, поджаренной солнцем, и свежестью тумана, теперь уже сиявшего в саду лазурным газом. Он шел спокойно. Спокойно прошел и по дому. Но, войдя к покойнику, беззащитно возвышавшемуся в гробу во всем смертном позоре среди толпы, наполнявшей комнату, увидав блеск свечей, столь странный среди солнечного света, и безобразное лицо, синевшее в дыму ладана, вдруг побледнел, упал на колени, торопливо

закрестился, а потом кинулся к гробу так неистово, стал так страстно впиваться в ледяные и зловонные губы своего господина и друга, что и все вокруг побледнели...

V

В полдень все кончилось.

Мирную жизнь живых уже ничто более не нарушало. Его, этого страшного существа, потерявшего облик и подобие Божие, уже не было. И все возвратилось на обычную стезю свою.

За церковью, против окон алтаря, в блеске спокойного и кроткого солнца, лежал длинный глиняный бугор. Но он уже никому не был ни нужен, ни страшен.

1929 г.

ЕРМИЛ

В наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни мятели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой — как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу не привычен: прежде нанимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, что никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помыкали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху — злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходей, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все ни по чем. Уверенно переселился он

в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бывало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночи похаживать по лесу — и уж только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за избу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи — нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги — и совсем хоть пропадай!» — думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучину посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился — и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были волчьи притоны. В самую полуночную пору не раз, с визгом, с захлебывающимся лаем, кидались в глубину сени собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени — и

сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скату оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впускал за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцем, гоня дрожачие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогач, подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задира тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и завалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго, сурово, по-зимнему. И Ермил повеселел было. Но не сровнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он на страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалаеь на суке высокого дуба веревка, а на веревке — оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорвавшейся шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине — со зла или для за-

бавы — удавил ее. И вдруг опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят? Лес, глушь кругом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не Бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заныло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слазил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел, поминутно попадал одной лыжей на другую — измучился, извихлялся и вернулся к избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, — подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. — Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер — и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила — до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, выпускал своего бе-

лого лохматого кобеля, — сучка куда-то сбежала, если только не попалась на зубы волку, — шел по сугробам в овраг, на пруд; возвратясь, затапливал, умывался, молился и принимался за работу — вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетыком. Дымил, сипел, стрелял хворост в печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел кобель — наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно-белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяжками, обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле Бога. Не о Нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Он всю жизнь полагал, что верит в Бога, но только полагал. Темная сила — другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазками в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда звали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смела и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, затаился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедля в село, как сгоряча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму — все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто — неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни — и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный

сапожник, Ванька Махор, первый разбойник в селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» — Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, стащившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдуманно. Пора было дело делать.

И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистоном, зарядил утиной дробью, крепко забил палкой, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колено в белейшем снегу, поджидая, не сядет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в наносы по-пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачивалась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, — наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и, вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: окровавленная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет, если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная, — это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку

соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать — смотреть на тропинку, поднимающуюся по косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне, прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе, — тем более... А кто же именно идти-то будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, стой, меня голой рукой не возьмешь!» думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидному селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных мужицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда белее, пушистей, глубже, — не жилой это снег, звериный... Он прошел околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... За-

чернели люди, ехавшие в кабаки, в лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной, редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то переворачивал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, сыпая туда пшено, то наливал, щедро переливая, бутылки керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пень, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, — только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой, насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

— А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселье, пированье, а мне — жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да убьет. Да что ж! Небось, скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, бережной... А не то, святошное дело, и так только — поугатать вздумает... А я и от того могу обеспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

— А ты вот брещи так-то побольше, наклейкай на себя, — сказал лавочник, протягивая щербатому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. — Брещи побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

— Верно. Это уж известно — только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурацки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мещанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и грязнее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него — много желтых и белых медалей. В темных сенях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись сидели сам Махор и его подручный Мишка. Больная старуха спала за ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мещанского угла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из сня-

той крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикладывал их к губам, без передышки тянул в себя воздух — и клапаны дребезжали, пели, пищали. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог — и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушной, он, войдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое-что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоять сапоги.

— Головки? — отрывисто спросил Махор.

— Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели:

— Это кому же?

— А хоть бы и мне, — сказал Ермил. — Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

— Франт тоже! — сказал Махор, оглядывая его. — Да тебе околевать пора. Ай погодить хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил пощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околей ты прежде!» — подумал он. И с притворной развязностью ответил:

— Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь — я к Кострецу, к хромому, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

— А! Вон оно что! — свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

— Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

— Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сижу ни жив ни мертв в лесу... По ночам не сплю... Кто и поугагать просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

— Родимчик приключится? — сказал Махор.

— А ты что ж думаешь? — подхватил Ермил. — Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, поллушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

— А! — опять сказал Махор, но уже равнодушно. — Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

— Чего ты? — торопко спросил Ермил.

— А то чего же! — ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества, — он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом поллушубке, — и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.

Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путанные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на

земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу — покойник-батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

— Батюшка? Ты зачем? — спросил он. — Я теперь тебя не боюсь.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

— Спи, Господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчерашней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять нырнула в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг — насторожился. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было тоже прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору. Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, наклонился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, щурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

— Господа-начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

— Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел он двор, как ловко колот дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, — «прижился к Богу». Но в монахи постричься не пожелал:

— Нет, я дюже преступный, — говорил он с удовольствием.

Капри, 27.12.1912.

ПРИ ДОРОГЕ

I

Устин, отец Парашки, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село — однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, — говорили, что он убил жену, из ревности, — жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому — и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, — ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, — гнали по большой дороге порядоч-

ный гурт овец: часто так делают — покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма — степных трав и полыни. А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за-день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.

— Здравствуй, красавица, — сказал старик, отделяясь от гурта. — Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под грудью сердце.

— Отца дому нетути, — ответила Парашка, нагледевшись.

— Так я и знал, так я и знал, — сказал старик. — Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка, — сказал он, глядя в землю: — вечор наша рябая всею ночьюку прокликала, всею, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стремях под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, — знали его манеру разговаривать, — на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арестантском картузе, а верховой — сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

— Я ее отца знаю, — сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. — Богатый плут... Ступай в пещурке, либо за образами поищи, — прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, короткого, плотного, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми зубами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи, и то, что все лицо его было, точно пороховом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

— Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный ста-

рый босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парях за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла — отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» — вспомнила она слова старика — и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер — и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

— Батюшка! — негромко позвала Парашка.

— Аюшки? — отозвался отец вполголоса.

— Этот какой босяк бывает?

— А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и будет босяк.

— Да он не босой. Он в полсапожках.

— Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его?

Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

— Знать, бальмашевский гурт гонят, — сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой. — То-то, я гляжу, костер горит...

— А отчего у него лошадь в крови?

— У кого это?

— У приказчика. Вся грудь в струпах.

— А это оттого, что она киргиц называется, — сказал отец. — Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро, небось, есть?

Парашка подумала.

— А какая она?

— А в роде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого... Ну, спи, спи, коли поужинала, — прибавил он. — А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напоминавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то в даль молодой мещанин.

II

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, — она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слиш-

ком разны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью — вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и мало понятном, что случилось между отцом и матерью, о чем еще в детстве несвязным шопотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? — и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше, постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком. Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского не мало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завит-

ки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немного.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и не схожих с ними. Многие одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

— А я, мальчишкой, раз было убёг за цыганам, — сказал однажды Устин, усмехаясь.

— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка, — сказал Устин уже без улыбки. — Сгоряча делать не годится...

— Чего делать не годится?

— Да ничего, — ответил он не сразу — и поглядел в сторону. — А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подающим. Ровной рысцой, часто спотыкаясь и перхая, бе-

жала посередине дороги захудалая помещицья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желания. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь — это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще л ю б о в н и ц у - т о ?» — сиплым таинственным шопотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца одноворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном — о любви. И она певала их, но мысленно — так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все подружки готовились только к одному — к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста

рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» — глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку...» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сажу-то!» — говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

III

Заменив отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла — ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пест-

реньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чувствовала это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки и жужжала колесом.

— Батюшка, — сказала она вдруг, — ты всегда был такой красивый?

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. — Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю, — сказала она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

— Ты того, дочка, не слухала бы, — сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить, — сказал он еще тише. — Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя.

Она подумала.

— Да меня что ж пытаться? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он. — Ты вся в нее.

Она покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

— Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

— У тебя ж есть любовница, — прошептала она.

— Все пустое, все пустое, — ответил он, не повышая голоса: — Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевитее и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею, — это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождется его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на пороге. Пели петухи — она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей — ей казалось, что уже слышно в тумане волнующее карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога — и влекла к себе, тянула в даль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали — и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой, притворной яростью играл, взвываясь на цепи под амбарами, жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбегала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей — с того самого вечера, когда Евгения

вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, — отец убил бы его, — но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, — пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговаривать с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел цыгарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб — он был красив. Но вот он открывал рот — и сразу превращался в дурака. О чем бы она не заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.

— Хоросую, хоросую залованью получает, — бормотал он косноязычно и от бормотанья усы его делались слюнявymi.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал обротъ с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут обротъ покрепче, пора тебя обротать, к бычку весть...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось — еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вдрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, звонко вскрикивала, хватаясь за что попало:

— Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, чорт!

IV

Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила Великая Суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели синебелесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, — от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошадей.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, — во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья — и сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресницах... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

— Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге — поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее — и она мгновенно признала его.

— Чего кричишь? — ответил Устин веселым криком. — Завтра праздник большой!

— Виноват, Устин Прокофич, — отозвался мещанин. — Ничего не видать...

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:

— Ай ты его знаешь?

— А кто ж его, плута, не знает! — ответил Устин. — Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запахла лицо шалью, задержала дыхание... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем была все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная, сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко — и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, — думала она, — повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями — его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желани-

ем видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибирать избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро — и зеленая дорога и зеленые хлеба, за которыми влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «страшно итить к суду Божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло — мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку на варок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

— Здорово! — смело сказал мещанин, появляясь на пороге. — Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, — слышно было, как спросонья заворковали в темном

углу под крышей голуби, — потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

— Отца нету?

— Нету, — ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

— Жалко, — сказал он и похлопал кнутом по голенищам. — Так ты одна и спасаешься?

— Так и спасаюсь, — ответила она, слабо улыбувшись.

— Ну, да ничего, в другой раз заеду, — сказал он. — Благо придирика есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, — добавил он.

Она промолчала.

— Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

— Я эти побаски слыхала, — с трудом ответила она. — Пусти, — бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слыхала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

— Дай Бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

— Ну, теперь шабаш мне! — сказал он, садясь в телегу. — Потерял я свой покой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеле-

ной траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

V

Он заезжал еще два раза, но все не во-время: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желания увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устину на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно-веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он в полголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство трое-

женцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованьи. Его никто не слушал. Он неприятно раскраснелся, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки, измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонью, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «Кабы курочка бычка родила...» Троеженец подсунул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козьими грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

— Дочка! Поди сюда! — крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. — Поди поцелуй меня!

— Ты пьяный, — ответила Парашка. — Глаза б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужки, заросшие цветами, две горлинки...

Как тихо было тут после гама пьяных! Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый... Парашка села на межу и дала полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие — растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь — светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака — небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата — боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетках и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него — его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

— Отец твой совсем готов, на девятом обруче, — с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке. — Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит — «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымно-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:

— Погоди, за ради Бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...» Я памяти по тебе лишился! Уведу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя́, — на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистики будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидела впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, — обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди. Он приподнял и положил ее на солому.

VI

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что придет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», — ответила она. «Смотри же, не обмани», — сказал он неестественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стремянем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «смотри же не обмани», — она вдруг увидела в окошечке,

пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» — подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желании лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что посиди он дома, никуда не спеша, не волнуй ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, — и некуда было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные по-

пытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, жалея, что не застала Устину, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня — не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

— Ты здорова? — спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась, это ребенок мог заметить — как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, — и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом

человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу — и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «я вся наружи перед тобою» и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться ему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя дочка, для тебя одной» — вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрелчатые касатки, мелькая розовыми грудками, проносились мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигура Никанора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.

— Здравствуй, — сказал он негромко, останавливаясь у порога. — Никого нету?

— Никого, — ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

— Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть име-

ющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

— Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылья опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеды, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один чорт не заглянет. Чем свет — дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек: ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составитя тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

— А какое? — спросила Парашка.

— Ну, ты по этой части еще тупорыла, — сказал Никанор с усмешкой.

— Лучше бы ночью, — сказала она серьезно.

— Да что ты! — насмешливо сказал Никанор, держа папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

— Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

— А скорей нельзя? — спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

— Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? — подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

— О чем ты? — спросил удивленный Никанор.

Она не ответила и заплакала пуще.

— Тебе говорю, ай нет? — грубо крикнул Никанор.

— Отстань! — крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

— Ну, будя, будя, — сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

VII

Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения — жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хрому свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала — тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много — и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, порхаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на на-

рах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

— Дочка! Спишь? — негромко спросил он, оставившись у порога.

— Нет... — с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса — и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

— Дочка, что с тобою? — тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, — и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. — Ты не таись, — еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! — со слезами хотела крикнуть она — и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. — Батюшка, — хотела она сказать, — он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

— А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярманку еду сейчас — что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

— Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

— Уйди, — едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге испуга, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно-звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за нею сейчас приедут, и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый пес с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небо-склоне, появилась дуга и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный.

— Что же ты? — быстрым шопотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. — Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, спрыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распянула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: — «Да что ж ты не оделась-то?» — На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

— Ключа у меня нету, — сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей — и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой обротью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, где, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскочила, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапну-

ла— и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к городу, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка — в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала — и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжевкой.

Капри, март 1913 г.

ИГНАТ

I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чёсменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. Поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, чем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно краля она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и

спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки, — уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое, — приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим от людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось наткаться на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

— Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил, — неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег. — Понюхай-ка, как от меня пахнет!

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухни, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий зладкий запах духов и еще более дурманящий

запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замахала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун Прощеного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра грело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник запел в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из троечных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее уши палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо

рычавшую собаку. Уже были по двору лысины — чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой потянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вождедением, Игнат двинулся за собаками — смотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под кривыми ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел за сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного ватного дна ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри прильнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и засунула в подставленный глубокий карман его растянувшихся порток пузырь с водкой.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отравка по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким — промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, — дом топили соломой, Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца, — он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, — он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на заднем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.

— Чего тебе? — крикнул он.

Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел; постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер — и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму...

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтоб запрягли в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «а-а та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

— А-а, собаки, собаки, собачики!

Был прощенный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громохание бубенчиков, звон колокольцев: лавочник, сапожник, урядник, мужики — все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую, нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой шалью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шажками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздры, обогнал, обдал дыханием и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутносизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папачой...

И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга гармони, заглушаемые песнями и ветром, кружились

в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!

II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей с них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

— Вот вы так-то играете, — сказала она, — а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял, — прибавила она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придал он ее словам, но с этого дня еще больше стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принимались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло — ржаным колосом. В сумрак огромного трехугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней мольбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накинутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подвязанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенной сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно «Мчится парочка вдвоем...» Потом встрепелась, вбежала в дом — и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась, и вырвав руки, повернулась и хлопнула дверь.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренном фиолетовыми тенями, аллея — веселой, широкой. И опять, нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабе шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший,

изумленный. Небо над ним казалось необъятно-огромным и новым.

— Не пара она мне, — твердо и мрачно, вслух сказал Игнат поднимаясь. — Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двоились и плыли... Странно, — он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывая, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями

стекловидных слюней, — и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже по-летнему было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидел он, пригнав стадо на пар, сидящую у опушки бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладел с собой...

С этих пор дурочка стала приходиться к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и по-

шел прочь, странно, неумело рыдая. А наплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь безпрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть — тоже. Сапоги он пропил...

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но, на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер — на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже — шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу — жаркое, длинное. Обмелела речка, до-черна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, — был уже конец июля.

В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она оставилась и показала на лесок.

— Как отделаюсь, так приду, — сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролегавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей, солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом, мимо сада, к гумну. Впереди его мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись влево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся — и схватил ее левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали

круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосоила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги — тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за нею послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывает тому — не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью — сидящую в телеге Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

— Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

— Постой, — шопотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове: — постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбыв солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась его судьба, Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращаясь к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в избрешении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу, — будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл,

молчалив был он и на службе, но исполнительен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю — ответа не было. Он грозил, молил — она молчала. Он опять стал пьянствовать — и отупел, измучился.

Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы.

Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья маслаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову — бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу — и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы — и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими

свиньями. Свиней везли богатому помещику на племья, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задира л мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя маслаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал: только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только-что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом — так много толпи-

лось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали — свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо, ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутнолунное небо, выкурил цыгарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опирающуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучек себе на спину, подкинув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами, светлая снежная ночь была вокруг

него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух — еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марей, светился низкий огонек — из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка, ткала красна́, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликался, только откашливался. Потом стал слезать — задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затыгиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:

— Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика сог-

нала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника имеет...

— Знаю, знаю, — сказал Игнат, что-то думая.

— Известно, знаешь... Ну, потращаешь — бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

— Я сундук у тебя пока оставлю, — сказал Игнат, не поднимая глаз.

— Это можно... Оставь... Оставить можно, — согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясноло. Темно синяя в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.

— Зима обозначается, — хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревням, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в избе под деревьями...

Почему не спал, почему так пристально посмотрел

на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушонок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу — Николай угодник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами, мочились тонкими, прямыми светлыми струйками. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, — и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним — старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и, положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

— Он у нас сумасходный, — тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. — Дюже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

— Бог благословит, Бог благословит, — пробормотал он.

Обнажив стриженную, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

— Любовь в доме?

— В доме, в доме, — поспешно отозвался тот. — К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул

ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил — и застыл, замер, прижавшись к стене.

IV

Поставив в темных сеньях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову на бок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебрянную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородив ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

— Кто там? — сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими деревнями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света

на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, — только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный круг. За стволами просторно белел светлый двор, и колея, прорезанная по нем санками купца, ровно сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьávки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула фортки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрежал пойнтер, — и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безыменным пальцем в разных местах клавиши...

— Хорошо у вас тут, тихо, — сказал он входившей и выходившей Любке.

— Скучно, — ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

— А ты бы забаву какую-нибудь приискала себе, — сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.

— И то правда, — тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее груди. Она в бок блеснула смуглыми белками и, с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, как бы греясь, к холодной печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша, — подумала она: — распутный, небось». Но опять грубо забрежал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

— На кого это он все? — спросил купец, выпив и раздувая ноздри. — Как отзывается! — сказал он, послушав. — Как оргán.

— Да все, небось, этот пьяница шатается, муж скотницы нашей, — ответила она и, подумав, насмешливо улынулась. — Тут такая потеха идет, не приведи Бог.

Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

— Да что ты!

— Ей-Богу, — сказала Любка. — Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

— Чтó ж, еще дружка себе нашла?

— Да ай их мало! — сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый мороз будет. Куда в даль так-то поехать, замерзнешь.

— Очень просто, — сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы. — А собака это же чья?

— Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича, — сказала Любка. — Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.

— Да и дурак, можно сказать, хороший, — вставил купец.

— Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить, — сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу. — Только, правда, никуда не гожается и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

— А ты уж давно здесь проживаешь?

— Давно. Седьмой год, никак.

— И довольна, значит?

— Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть, и не живут тут.

— Муж-то в солдатах?

— В солдатах.

— И на войну не попал?

Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.

— Они, такие-то, счастливые, черти, — сказала она, смеясь.

— И отслужится, небось скоро?

— То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать, — сказала Любка то, что часто говорила портному. — И опять же ревнив, надоед своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит — убью, а скажи ласковое слово — сейчас слюни распустит. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имеешь право, — сказал купец. — Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышевый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папиросу, с наслаждением закурил.

— Давно замуж-то вышла? — спросил он с мутной усмешкой.

— Пятый годок пошел.

— А детей не было?

— Не было.

— Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша была?

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: — А уж это видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая мо-

жет быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была — искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку... Плохая наша бабья доля, — сказала она.

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.

— Это верно, — сказал он, не зная, что говорит. — Да что ты все около печки-то спасаешься?

— Греюсь, — ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отвалиясь к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор, — и глаза его; то стеклянели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюдца, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно — острую кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника, Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

— Довольно, что ли? — спросил он.

Как будто ничего не понимая, Любка равнодушно взглянула на десятирублевку, потом перевела томно-пристальные глаза на него.

— Чтó говорю-то? — повторил он смело, почти грубо.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она поджала руки, навалилась на стол и опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, чтó говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она не отняла их, и, тоже не зная, чтó сказать, спросила:

— Чтó ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

— А я люблю, — сказала она: — она сладкая, опричь если на сковородке поджарить. — И засмеялась: — Пост, а мы жрем... — И, помолчав, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

— За что же это? — спросил купец.

— Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шопотом сказала:

— Ну, пойдете, что ль...

V

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стали ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в сених людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцевито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один-на-один во всем доме.

Но время шло, шло — и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привсталала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стала видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, — и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парад-

ному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами, сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добравшись до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топорик со скользкой рукояткой, — стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень тяжелый, револьвер, вошел, между тем, в темный коридор и протянул вперед руки.

— Тут хворост на топку приготовлен, не упадите, — сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «это у нас задняя прихожая», пошарила по стене и отворила дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены — деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шопотом:

— Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шопота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал, — он,

охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ей рот. Обими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, расстегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной сверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть ли не до потолка ростом. В левой руке он держал фуражку, а правой, отведенной назад, сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро пере-

хватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.

— Мой грех, — быстро сказала она. — Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрезавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки — и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, сладко зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликавая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугуничек горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и ржыми от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальный огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синев. Бледнело, расширилось небо за садом, за сквозными деревьями.

Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фаэтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадью, ее свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему — и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, — он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугой полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Федька втолкнул их в раздавленные желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела — обтирая руку и приглаживая, оправляя загнутые вверх, зачесавшиеся волосы на холке, — и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой,

ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его — и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, — и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

— Ну, будя, навек все одно не напьешься, — сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем светло стало. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось алооранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, разодрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток — погреть лошадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу — и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шинели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к темени.

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА

I

Ужасное дело это — дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны оно очень просто, а с другой очень сложно, похоже на бульварный роман, — так все и называли его в нашем городе, — и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения... Вообще справедливо сказал на суде защитник:

— В этом деле, сказал он в начале своей речи, нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения: ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, не достойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость: спорить есть о чем, поводов для спора и размышлений очень много...

И далее:

— Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немногое. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить

на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако, даже и в этом случае, могли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии: «все так, да не так!» — должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела...

Ужасно и началось оно, это дело.

Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осто-

рожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос:

— Дома?

С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо: перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин, человек маленький, щуплый, рыжеватый и веснучатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутой с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его «главной» слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову.

— Постой, постой, — пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами: — откуда ты, что с тобой?

— Я убил Маню, — сказал Елагин.

— Ты пьян? Какую Маню? — спросил ротмистр.

— Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.

Ротмистр спустил ноги с дивана:

— Да ты что, шутишь?

— Увы, к сожалению, а может, и к счастью, ничуть.

— Кто это там? Что случилось? — крикнул граф из гостиной.

Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее.

— Не ори, — сказал он. — Это я, Елагин. Я застрелил Маню.

— Что? — сказал граф и, мгновение помолчав, вдруг захохотал: — А, вот оно что! — закричал он весело. — Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали, вчера опять до трех забавлялись.

— Даю тебе слово, что убил, — настойчиво повторил Елагин.

— Врешь, братец, врешь! — закричал и хозяин, берясь за носки. — А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле... Ефрем, чаю!

Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и, через плечо ловко бросив его на стол, сказал:

— Ступайте, посмотрите сами...

На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил «сверхъестественной», как он выразился, бледности Елагина и чего-то «нечеловеческого» в его глазах, а затем был «просто поражен и тем, и другим»...

II

Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года.

Через полчаса граф Кошиц и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток.

Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала, — уехала еще с вечера, захватив с собой какой-то сверток. Граф и корнет опешили: что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к

ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон:

— Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон: Староградская, 14. Слышите? Староградская, 14. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворник сидел на козлах, околоточный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку, против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не верилось, что в такое солнечное оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым, и втупик ставила мысль, что это сделал двадцатидвухлетний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил, почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа.

Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, «совсем пали духом». Неужели это здесь и неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть и так неодолимо тянет? Зато околоточный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным.

— Позвольте ключ, — сухо и твердо сказал он, и офицеры заторопились отдать ему ключ с той же робостью, как сделал бы это дворник.

Посредине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или казалась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходящая прямо на улицу, которую нужно было открыть. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась, и граф с корнетом увидели что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул впе-

ред руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого, между двух кресел, стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой вход в соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным были затянуты сверху до низу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенной окон. Тут, тоже в глубине, стоял большой и низкий турецкий диван, а на нем, в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты.

И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.

III

Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это

странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья.

В общем картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее.

Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка.

— Ах, конечно, конечно, — шопотом пробормотал граф, — трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?

— Имейте терпение, — наставительно сказал околоточный, — подождем следователя и доктора. Но, несомненно, похоже и на отравление...

И точно, было похоже. Крови нигде не было, — ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле, возле дивана, лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждало еще то, что оказалось на выступе стены над диваном: на этом выступе, среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги, стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело: "Op. Pulv".

Но как раз в ту минуту, когда околоточный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду: Сосновская, в самом деле, была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было. Но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна круглую, с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка...

Что еще установила врачебная экспертиза? Немного: то, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза; что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу; что борьбы между убийцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое (недостаточное для отравления) количество опия; и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной...

Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос: потому, что оба они — и он сам, и Сосновская — были «в трагическом положении», что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и, что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако, этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

— Генералу Коновницыну, председателю правления театра. Приятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет... Шлю последний при-

вет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы...

На другой:

— Человек этот поступил справедливо, убивая меня... Мать, бедная, несчастная! Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле... Мать! Мы увидимся... там, наверху... Чувствую — это последний момент...

На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее:

— Человек этот требует моей и своей смерти... Живой мне не выйти...

— Итак, настал мой последний час... Боже, не оставь меня... Последняя моя мысль — матери и святому искусству...

— Бездна, бездна! Человек этот мой рок... Боже, спаси, помоги...

И, наконец, самое загадочное:

— *Quand même pour toujours...*

Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам (потому что кто же иной мог это сделать?) положил их на самое видное место. Он не изорвал их впопыхах? Впопыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как же он мог впопыхах положить на грудь покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще впопыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, при-

крыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался... Нет, тут прокурор был прав: это делалось не впопыхах.

IV

Прокурор говорил:

— Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого «коротким безумием». И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злему и преднамеренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественного порядка, это — уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он несомненно уголовный волк, он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни...

Эта тирада необыкновенно странна (хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина) и странна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душой раздирающей робостью и печалью. И, однако, был прокурор и прав: на скамье подсудимых сидел преступник никак не обычный и пораженный вовсе не «коротким безумием».

Прокурор поставил два вопроса: во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству, — и ответил на оба вопроса с полной уверенностью: нет и нет.

— Нет, сказал он, отвечая на первый вопрос: ни о каком аффекте не может быть и речи и прежде все-

го потому, что аффекты не длятся по несколько часов. Да и что могло вызвать аффект Елагина?

Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и тотчас же отвергал или даже высмеивал их. Он говорил:

— Не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил, в этот же день не больше обыкновенного.

— Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших: вполне здоровый; но совершенно не привыкший себя обуздывать.

— Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем: подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака.

И далее:

— Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде.

— Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской, о разрыве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говорили и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же наконец? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрестанно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно, ведь, весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой... Ела-

гин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш...

И прокурор заключил так:

— Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится: у нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее, — и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по собственной воле»...

V

Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. «Подсудимый человек вполне здоровый...» Но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? «Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака...» Но, ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их; а, во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом, и Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?

Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав: аффекта не было.

Он говорил:

— Врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был «скорее» в спокойном, чем аффективном состоянии; а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление, и где Елагин оставался еще долго после него. Затем — показание свидетеля Ярошенко, виде-

шего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, — поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его «опомниться», вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все о т л и ч н о помню!» — и тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга «даже неприятно поразил Елагин — он, после своего признания, хладнокровно пил чай». А свидетель Фохт был поражен еще более: «Господин штаб-ротмистр, иронически сказал ему Елагин, я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения. — Это было так страшно, говорит Фохт, что корнет Севский не выдержал и зарыдал»... Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин: это когда ротмистр вернулся от командира полка, к которому он ходил за приказаниями насчет Елагина, и когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер Вот в это-то время он и зарыдал, — закончил прокурор, — только в это время!

Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастии даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения? А, ведь, Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь, он как бы и родился офицером, — десять поколений его предков служили. И вот он уж не офицер. И мало того, что не офицер, — не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело!

Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что «короткого безумия» действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что «в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений». И он твердо заявил:

— Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие...

Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос: так ли это?

VI

О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого существа: переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот, будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле. «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни» — говорил прокурор, повторяя общее мнение, и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского: о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты схо-

дились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него!» Я ее заслонил, рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел — стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: куда же это делась Сосновская?

Вот именно так: ошалелый человек. Но только от чего ошалелый: ужели от «праздной, разнузданной жизни»?

Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи, матери (которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной) он лишился очень рано, от отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал:

— Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает; перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке весьма мало напоминающий Отелло, то есть, личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый в одних случаях, — как, например, в отношении к отцу, — и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть, тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность...

Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а, во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепете перед

отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры: взгляните, сказал бы я прокурору, попристальнее в этого рыжеватого, сутулого и тонконового человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми (избегающими глядеть на вас) глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу: в день убийства он был на учении, — с раннего утра, конечно, — и выпил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку, и остался при этом почти совершенно трезвым!

VII

В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отзывались о нем самым лучшим образом. Вот каково, например, было мнение о нем эскадронного командира:

— Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив, справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним: неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы...

Затем — мнение ротмистра Лихарева:

— Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями: то бывал он скромн и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, браваду... После того, как он пришел ко мне с признанием об убийстве Сосновской, и Севский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье...

Затем — графа Кошица:

— Елагин был человек, в общем, нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившая его до слез; да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть не на всех инструментах...

Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели:

— Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного...

— На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им кого попало... Вступив в связь с Сосновской, чувства к которой он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился: часто бывал задумчив, печален, говорил, что утверждаетя в намерении покончить с собой...

Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления о «золотой молодежи» и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряже-

нии суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни:

— Дошел я, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава Богу, а что завтра будет, — наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе...

Такая самооценка как будто связывалась с красноречием прокурора, говорившего, что, «во имя животной борьбы за наслаждения, Елагин поставил женщину, все ему отдавшую, на суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести — христианского погребения...» Но связывалась ли на самом деле? Нет, прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково:

— Дорогой Сергей. Письмо твое получил и хотя поздно отвечаю, но что ж делать? Наверное ты, читая мое письмо, будешь думать: «Вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, напознала!» Ну, что ж, почерк, как говорят, есть, если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был, а если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, брат, кое-что, чего и сам Солломон премудрый не выразит! А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава Богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе. А, вместе с тем, поверишь ли? Чувствую иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, чорт его знает, к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность: так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный: иног-

да зимой, ночью, в метель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городских, которые привыкли ничему не удивляться — и заметь, вполне трезвый и не с перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет! Что ж, тебе-то признаюсь: я влюбился и совсем, совсем не в такую, какими полон весь город... Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? «Россия, корнету Елагину...»

Поразительно: как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма, говорить, что «сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие»!

VIII.

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, — ей было двадцать восемь лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж и опять за мелкого чиновника и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка, — откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся, — конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою, — и вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрогивалась иногда по целым меся-

цам и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она?

— «Не родиться — первое счастье, второе же поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль!

— Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному...

— «Люди понимают только те страдания, от которых умирают». Мюссе.

— Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том Богом и смертью...

— Только любовь или смерть. — Но где же во вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нет, не может быть! А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?

— Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле...

— Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я, из-за денег! Какое неземное слово любовь, сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила!

— Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце...

— «Быть человеком не стоит. Ангелом — тоже. И ангелы возроптали и восстали на Бога. Стоит быть Богом или ничтожеством». Красинский.

— «Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» Мюссе.

Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако, дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела вну-

шить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной.

Восемнадцать лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире настолько серьезную, что на третий год службы получила приглашение в наш город. Однако, и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

— «Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее?» Мюссе.

— Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание...

— Когда я выеду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать... полюбить и умереть...

— Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!

И дальше:

— Все, все требуют моего тела, а не души...

— Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару...

— «Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает?» Красинский.

И, наконец:

— Негодяй!

Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так не трудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. «Уже во Львове, сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской,

она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами. Красота их повергала всех и особенно новичков в восторженное изумление. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственные» — и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, — часто со слезами, — что нет никого достойного ее любви и что ее единственная надежда — смерть...

И вот явился «негодяй», с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с детства:

— Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо артистке и обывательнице нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому!

Именно об этом «кабане» рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему:

— Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире, всем чужая... Одна женщина, — да будет проклято ее потомство! — развращала меня, доверчивую, чистую девочку... А во Львове я искренно полюбила одного человека, как отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса! И он приучил меня к гашишу, к вину, он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек...

IX

У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцех.

— Еще во Львове, говорил свидетель Мешков, многим предлагала она умереть за одну ночь с ней и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цель — жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». И так она и поступала, говорил Мешков. Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, говорила она, пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное — слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью: заставить говорить о себе...

То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки:

— Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!

— Как-то вечером я была на кладбище: там было так прекрасно! Мне казалось... но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда...

И опять:

— Вчера я была на кладбище в десять часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окру-

жена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо...

А, познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее «потрясающе-восторженное впечатление».

Жажда славы, людского внимания перешла у нее в это время просто в иступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была в общем не оригинальна и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, не обычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а, кроме того, смесь постоянной игры с искренностью: посмотрите на ее портреты, обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий, — взгляд всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках, взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей, одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубийства, — там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами, — а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того: часто, беседуя о всяческих способах лишиться себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок,

приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня или я сию минуту выстрелю!», — а не то брала в рот пилюлю со стрихнином и заявляла, что если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те, всех волнующие, слухи, которых она так хотела...

— Вообще она сама собой почти никогда не бывала, говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. Играть, дразнить — это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка — на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распалаяла его, то обдавала холодной водой... Хотела ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей. А она всех забыла, — в такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат... Очаровательная была женщина!

Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее десять лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, — у нее начиналась тогда чахотка, — тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства

лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью (и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом»). А врач Недзельский дал такое показание:

— Странная была женщина! Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось — вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол... а не то начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки... В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее: ну, еще, еще, — и она тотчас же прекращала это занятие.

И вот с этой-то «странной и очаровательной женщиной» и встретился наконец корнет Александр Михайлович Елагин.

Х

Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин: первый раз, кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства, — следователю; второй раз — на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса.

— Да, говорил он, я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле...

— Я познакомился с ней полтора года тому назад, в кассе театра, через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой — наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился

жесточайшей ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить... Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности...

— Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года, в театре, возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем и, хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: а вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной? И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью...

— Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылаю ей букеты в театр, посылаю цветы на квартиру, делаю подарки... Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, пер-

стень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку, с надписью по-французски: “*Quand même pour toujours!*”

— 26 марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне... в комнате, которую она называла японской. В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания; служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключи от своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу... В память 26 марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны, по ее желанию, наши инициалы и дата нашей близости...

— В одну из наших поездок за город мы подошли в деревне к кресту возле костела и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед Богом и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. *Quand même pour toujours!*»

— В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошке и сказала: «Как легко умереть! Стоит только подсыпать немного и готово!» И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия!» И прибавила: «Что ж мне делать, сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь... Какой позор!»

— И после этого мы стали видеться реже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужас-

но. Но кроме того она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива, принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы и все издевалась над отсутствием у меня характера... И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной, — может быть, потому, что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею... Наконец, она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном, старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет... Вы знаете, как именно была убрана эта квартира...

— И вот, 16 июня я зашел к ней в четыре часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шкляревич. Я поспешно спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шкляревичем, она в прихожей громко сказала ему: «приходите в понедельник» — мне же шепнула: «приходи завтра, в четыре» — и шепнула так, что у меня закружилась голова...

— На другой день я был у нее ровно в четыре часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо! Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что «теперь уж поздно». Вне себя, я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово поздно, и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно — ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, возвратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее

игру со мной и прося вернуть мне обручальное кольцо, которое для нее, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни, то, что должно лечь со мной в могилу: я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи, хранившиеся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... Денщик вернулся и сказал, что ее нет дома, и что он оставил письмо и посылку у дворника...

— Вечером я поехал в цирк, встретил там Шкляревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шкляревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос»... Мне хотелось выхватить шашку и разрубить ему голову, но я был в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось: я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любовью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я так одурочен с этой квартирой...

— Оттуда я погнал извозчика в ресторан Невяровского; шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огней впереди было больно и страшно. В час ночи я вернулся с Шкляревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку: она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна,

взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, — квартира ей очень понравилась. Я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвратить ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда в конце концов чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В три часа ночи я повез ее домой. Дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса: «Ты не мужчина, говорила она, у тебя нет никакого характера, я могу, когда угодно, и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки!» Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» — и сильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь... на Староградскую...» И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя придти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз, главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь — ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз...» Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда

мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шкляревича...

— Утром в понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что я свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской...»

XI

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка, Ванда Линевиц, показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его с себя, — вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила:

— Вот посмотрите, это к большой беде...

Милая, несчастная женщина! Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели, а главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал понастоящему, — равно как и Елагина, — невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которых конца не было за последний год.

Вообще еще раз скажу: изумительно убожество человеческих суждений! Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится раз-

бираться в каком-нибудь даже мало-мальски значительном событии: обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слышат. Нужно же было вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними! Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить: он — гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни...

— Отдельные кабинеты, вино, кокетки, дебош, — говорили про него. — Бряцание сабли заглушало в нем все высшие чувства...

Высшие чувства, вино! А что такое вино для такой природы, как Елагин? «Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к чему, что грудь ломит... Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет...» А вот во хмелю-то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь в конце концов обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни?

— Она не любила его, — говорили про нее. — Она только боялась его, — ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя, то есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала. Есть свидетельства, что она испытывала к нему «даже некоторое отвращение». Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала! Однако Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть...

И еще:

— Она ужаснулась той страшной, безмерной ревности, которую он начал проявлять все более и более. Раз, при нем, был у нее в гостях артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности. И вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, не мало. Не понятно ли после этого, что она наконец решилась избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти? Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно, — то есть, теперь мне не к чему брать его, я уезжаю. Но он закатил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему, вне себя от страха, что может застать его уже мертвым...

Пусть все это так (хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина). Но почему же все-таки Елагин так «страшно», «безмерно» ревновал и захотел превратить комедию в драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего «борьбы между убийцей и его жертвой не было»? И затем: «Она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение... Она при посторонних иногда издевалась над ним. давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком...» Но, Бог мой, ведь в этом вся Сосновская! Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то: «Так он еще любит меня! А я? Что чувствую я к нему? И любовь и отвращение!» Она оскорбляла Елагина?

Да, однажды, поссорившись с ним, — у них это бывало весьма часто, — она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала:

— Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни — это будет только комедия, ты должна нынче же возвратить мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, обручилась, и оно для меня дороже всего на свете...

Ее совсем недаром называли женщиной «легкого поведения» и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении, «как личности дурной и распутной». Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам — и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет, тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что, ведь, такие мужчины очень хорошо и чувствуют и видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а

все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам, — неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?

— Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час. И ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники, — кстати сказать, весьма банальные и наивные, — и никакие посещения кладбищ...

Наивность ее дневников и театральность прогулок на кладбища никто не отрицает; равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее: красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников, и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?

XII

Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и, по своему обыкновению, исподлобья, с полуоткрытыми губками, задумчиво и рассеянно, следила за ней. Потом сказала:

— А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, Матерь Божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени на постели и целый час молилась... Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть... Все лицо закрыли бы ватой...

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидела, что-то думая. Потом выпила шоколад и, приняв ванну, в купальном халатике и с распущенными волосами, написала за своим маленьким письменным столиком несколько писем на бумаге в траурной рамке: она уже давно заказала себе такую бумагу. Одевшись и позавтракав, она уехала: была на даче у матери, а вернулась только в двенадцатом часу ночи с актером Стракуном, который «всегда был у нее свой человек».

— Они приехали оба веселые, — рассказывала горничная. — Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствие прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Стракун!» — потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной: «Ради Бога, беги одним духом за каретой!» — Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, Матерь Божия, только бы застать его в живых!»

В понедельник она с утра уехала на реку, в купальни. Обедали у нее в этот день Стракун и англичанка (которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала). После обеда англичанка ушла, а Стракун оставался еще часа полтора: курил, лежа на диване,

положив голову на колени хозяйки, которая «была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу». Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его придти «нынче же в десять часов вечера».

— Не часто ли будет? — сказал Стракун, смеясь и отыскивая в прихожей палку.

— Ой, нет, пожалуйста! — сказала она. — А если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись...

А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной:

— Все теперь сожгу, раз сама не сгорела! А хорошо, кабы сгорела! Только уж вся, до тла...

Потом сказала:

— Скажи Ванде, чтобы ужин был к десяти вечера. А сейчас я уезжаю...

Она уехала в шестом часу, захватив с собой «что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер».

Она поехала на Староградскую, но по дороге вернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, «была в милом и веселом духе». Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской, среди девушек мастериц, все говорила: «Ой, Матерь Божия, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки!» — и все не уходила. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала:

— Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички, ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами!

И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла...

Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у се-

бя, боясь, что Елагин застрелится. «Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу» — сказал прокурор и добавил:

— Так отправилась она на роковое, но не ведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме № 14 по Староградской, в квартире № 1 — и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью? Об этом рассказать нам некому кроме Елагина. Послушаем же его еще раз...

XIII

И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина.

— В понедельник 18 июня я послал ей записку, что свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской».

В шесть без четверти я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру, два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго: она приехала только в семь...

— Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван. — «Выйди, — сказала она мне по-французски, — я хочу раздеться». — Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается... Впрочем и обстановка была странная: я сидел при огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер... Она долго не звала

меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец, она крикнула: «Иди, теперь можно...»

— Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидел свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так... Ведь, я уезжаю... Ты лучше держи его здесь, а не дома...» У меня мелькнула страшная мысль: «Нет, это не спроста!» — но я ничего не сказал...

— И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго с принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался, — все хотел сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное, — ведь я понимал, что это, может быть, последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука надолго, — и все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала: «Кури, если хочешь...» — «Но ведь ты не любишь», ответил я. — «Нет, т е п е р ь все равно, сказала она. — И дай мне шампанского...» Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку, я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да... Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой... Всё и все против нас, только, может, один Бог за нас... Я люблю твою душу, люблю твою ф а н т а з и ю...» Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт, и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!» В ответ она только грустно улыбнулась...

— Часов в десять она сказала, что ей хочется есть.

Мы перешли в переднюю комнату. Но ела она мало, я тоже, — мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». — «Но когда же будет теперь этот следующий раз?» — спросил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус, Мария, прошептала она, что ж нам делать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдем скорей».

— Через некоторое время я взглянул на часы, был уже второй час. «Ой, как поздно, — сказала она. — Надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, Божья воля...» И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою незащитность передо мной. А по-моему, она хотела сказать другое: что наша несчастная встреча с ней — рок, Божья воля, что она умирает не по своей, а по Божьей воле. Впрочем я не придавал тогда особого значения ее словам, я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен: зачем ей карандаш? Однако поспешил подать, — он был у меня в записной книжечке. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, неудобно на моей визитной карточке писать записки». — «Нет, это так, заметки для себя, ответила она. — Оставь меня подумать и подремать». — И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение...

— Так прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, — я пришла возвратить тебе твоё кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены: — «Разве ты меня любишь? — почти крикнула она. — Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить! Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, — боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». — И тут я ещё больше, с страшной ясностью понял весь ужас, безысходность нашего положения, и что оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. Но убить её — нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое: настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя? — воскликнула она, вскакивая. — Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» — И выхватила револьвер у меня из рук...

— И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невнятно, про себя, сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда моё кольцо». — Я подал. — «И своё!» — сказала она. Я поспешил исполнить и это. Она надела на палец своё, а мне приказала надеть моё и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и принеси портеру...» Я подал ей юбку и пошел за портером, а когда вернулся, увидал, что возле неё стоит скляночка с опиём. — «Слушай, — сказала она твердо. — Теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. — «Да, сказала она, я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если так, возьми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я наконец уже вся твоя — и навеки. А теперь слу-

шай мою жизнь...» И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства... Я почти ничего не помню из этого рассказа...

XIV

— Не помню и того, кто из нас стал раньше писать... Я переломил карандашик пополам... Мы стали писать и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы спрашиваете, почему я упрекал его, что он «не хотел моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю... Ведь, он все равно не согласился бы... Потом я писал однополчанам, прощался с ними... Потом, кому еще? Командиру полка, о том, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите: значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я не сделал этого? Не знаю...

— А она, помню, писала медленно, останавливаясь и обдумывая что-то; напишет слово и исподлобья глядит в стену... Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало... Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине, под этим фонарем, писали все эти ненужные записки... Это была ее воля писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь, вплоть до самого последнего момента...

— Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благослови Матерь Божия!» — Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая

меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

— Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой, — да, конечно, левой — и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай... Или нет; здравствуй, и теперь уже навсегда... Если не удалось здесь, то там, наверху...» Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера... Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело... А потом как-то сам собой дернулся палец... Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный!»

— В котором часу это было? Думаю, что в три. Что я делал после того еще два часа? Но я с час шел до Лихарева. А остальное время я сидел возле нее, потому зачем-то приводил все в порядок...

— Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом, в таком же диком бессознании, стал прибирать ее и комнату... Я не мог бы не сдержать слова, которое я дал ей, что после нее я убью себя, но мной овладело полное безразличие... Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед Богом, но не перед ней!

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаграждать за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стучаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к Страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там *Miserere*; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пиджамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее са-

мочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шэффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышевыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким, душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойных и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека, чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на-люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взгвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двусветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдоте-

лями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил с цепью на шее, как лорд-мер. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, выюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушьяемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды

каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнахпряного дыма, в танцевальном зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбуждивший к себе общий интерес — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонта... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показалась Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели лег-

кие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шопотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, сессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит в даль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с ней. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду,

так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away! Via!

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окупанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двухколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырým коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, за-

крытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чьенибудь «Снятие со Креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню не мало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подь-

езда отеля блестели жезью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошейными клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем, с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от лежащегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруцских волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны в сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на дива-

нах в жалкой кают-компании этого парходика, закутав ноги пледом и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех; ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал парходик совсем на бок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Каstellамаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво зелеными горами летал за окном вниз и вверх как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, наклепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это

и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, на перебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла на большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломёнными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевиной листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюнкюлера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщевыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли вый-

ти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порадочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь в точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь однако с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг

сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много пережившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине зала, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших однако только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительно «yes», прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцует

Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «все-му миру туристов».

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал:

— На sonato, signore?

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий, испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на

крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожу в углублении под кадыком, но он был настойчив и, наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло; в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенснэ и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напряглась, глаза выпучились, пенснэ слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом — и все тело, извиваясь,

задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие повскакали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил

то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь с льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хрипкое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, — его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. — «*Gia é morte*» — сказал ему шопотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О, нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что,

если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шопотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону: — Partenza! — шопотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении по-

ездов, — и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на-бок, вполголоса почтительнейше спросил:

— На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листовой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Сальяро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портъе, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно гроыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сидёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной чолки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивает-

ся и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо; и полно налит неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Каstellамаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъёмов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но

вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Карло, по древней финикийской дорожке, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруцских горца. У одного под кожаным плащом была волынка, — большой козий мех с двумя дудками, — у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменные горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Матерь Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям

трижды благословенного Сына Ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, Ей, Непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и Рожденному от чрева Ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудинной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовал из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревож-

ную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицого телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшие в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком фраке, — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глу-

боко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными знойными недрами корабля, тяжело одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Октябрь 1915 года.

II.

А Г Л А Я

В миру, в той лесной деревне, где родилась и росла Аглая, ее звали Анной.

Отца с матерью она лишилась рано. Зашла раз зимой в деревню оспа, и много покойников свезли тогда на погост в село за Свят-Озером. Сразу два гроба стояло и в избе Скуратовых. Девочка не испытала ни страха, ни жалости, только навсегда запомнила тот ни на что не похожий, для живых чужой и тяжкий дух, что исходил от них, и ту зимнюю свежесть, холод великопостной оттепели, что напустили в избу мужики, выносившие гробы к дровням под окнами.

В той лесной стороне деревни редки и малы, грубые бревенчатые дворы их стоят в беспорядке; как суглинистые бугры позволяют и поближе к речкам, к озерам. Народ там не слишком беден и блюдет свой достаток, свой старый быт, даром что ходит спокон веку на заработки, женщинам оставляя пахать неродимую землю, где она свободна от леса, косить в лесу травы, а зимой греметь ткацким станом. К тому быту и лежало сердце Анны в детстве: милы были ей и черная изба, и горячая лучина в светце.

Катерина, сестра ее, давно была замужем. Она и правила домом, сперва вместе с мужем, взятым во двор, а потом, как стал он уходить чуть не на круглый год, одна. Под ее призором девочка росла ровно и споро, никогда не хворала, ни на что не жаловалась, только все задумывалась. Если Катерина окликала ее, спрашивала, что с нею, она отзывалась просто, говоря, что у ней шея скрипит и что она слу-

шает это. — «Вот! — говорила она, повертывая голову, свое беленькое личико: — слышишь?» — «А думаешь ты о чем?» — «Так. Я не знаю». — Со сверстницами она в детстве не водилась и бывать не бывала нигде, — только раз сходилась с сестрой в то старое село за Свят-Озером, где на погосте под соснами торчат сосновые кресты и стоит бревенчатая церковка, крытая почерневшими деревянными чешуйками. Впервые нарядили ее тогда в лапти и сарафан из пестряди, купили ожерелье и желтый платок.

Катерина о муже горевала, плакала; плакала и с своей бездетности. А выплакав слезы, дала обет не знать мужа. Когда муж приходил, она встречала его радостно, ладно говорила с ним о домашних делах, заботливо пересматривала его рубахи, чинила что надо, хлопотала возле печки и бывала довольна, когда ему что нравилось; но спали они розно, как чужие. А уходил он, — опять становилась она скучной и тихой. Все чаще отлучалась она из дома, гостила в дальней женской обители, бывала у старца Родиона, спасавшегося за той обителью в лесной хижине. Она настойчиво училась читать, приносила из обители священные книги и читала их вслух, необычным голосом, опустив глаза, держа книгу в обеих руках. А девочка стояла возле, слушала, оглядывая избу, которая всегда была прибрана. Упиваясь звуком своего голоса, читала Катерина о святых, о мучениках, наше темное, земное презревших ради небесного, восхотевших распять плоть свою со страстями и похотьми. Анна слушала чтение как песню на чужом языке, со вниманием. Но закрывала Катерина книгу — и она никогда не просила еще: всегда непонятная была она.

Годам к тринадцати она стала отменно тонка, высокая и сильна. Она была нежна, бела, синеглаза, а работу любила простую, грубую. Когда наступало лето и приходил муж Катерины, когда шла вся деревня

на покосы, шла и Анна со своими и работала как взрослая. Да летняя работа в той стороне скудная. И скоро опять оставались сестры одни, опять возвращались к своей ровной жизни, и опять убравшись со скотиной, печкой, сидела Анна за шитьем, за станом, а Катерина читала — о морях, о пустынях, о городе Риме, о Византии, о чудесах и подвигах первохристиан. В черной лесной избе звучали тогда чарующие слух слова: «В стране Каппадокийской, в царствование благочестивого византийского императора Льва Великого... Во дни патриаршества преподобного Иоакима Александрийского, в далекой от нас Эфиопии...» Так и узнала Анна о девах и юношах, растерзанных дикими зверьми на ристалищах, о небесной красоте Варвары, обезглавленной своим лютым родителем, о мощах, хранимых ангелами на Синайской горе, о войне Евстафии, обращенном к истинному Богу зовом самого Распятого, солнцем просиявшего среди рогов оленя, им, Евстафием, на зверином лове гонимого, о трудах Саввы Освященного, обитавшего в Долине Огненной, и о многих, многих, горькие дни и ночи свои проводивших у пустынных потоков, в криптах и горных киновиях... В отрочестве она видела себя во сне в длинной льняной рубахе и в железном венце на голове. И Катерина сказала ей: — «Это тебе к смерти, сестра, к ранней кончине».

А на пятнадцатом году стала она совсем как девушка, и народ дивился ее миловидности: золотистобелый цвет ее продолговатого лица чуть играл тонким румянцем; брови у нее были густые, светло русые, глаза синие; легкая, ладная, — разве что не в меру высокая, тонкая и долгорукая, — тихо и хорошо поднимала она длинные свои ресницы. Зима в тот год была особенно суровая. Завалило снегом леса, озёра, толсто оковало льдом проруби, жгло морозным ветром да играло по утренним зорям двумя зеркальны-

ми, в радужных кольцах, солнцами. Перед святками Катерина ела тюрю, толокно, Анна же питалась лишь хлебом: — «Другой вещей сон хочу себе выпостить», — сказала она сестре. И под новый год вновь приснилось ей: видела она раннее морозное утро, только что выкатилось из-за снегов слепящее ледяное солнце, острым ветром перехватывало дух; и на ветер, на солнце, по белому полю, летела она на лыжах, гналась за каким-то дивным горностаем, да сорвалась вдруг куда-то в пропасть — и ослепла, задохнулась в туче снежной пыли, взвившейся из-под лыж на срыве... Ничего нельзя было понять в этом сне, но Анна за весь день нового года ни разу не взглянула в глаза сестре; ездили попы по деревне, зашли и к Скуратовым, — она спряталась за занавеску под полатями. В ту зиму, еще не утвердившись в своих помыслах, часто она бывала скучная, и Катерина говорила ей: — «Давно зову к батюшке Родиону, он бы все снял с тебя!»

Она читала ей в ту зиму об Алексее Божьем человеке и об Иоанне Кущнике, в нищете умерших у ворот своих знатных родителей, прочла о Симеоне Столпнике, заживо сгнившем на стоянии в каменном столпе. Анна спросила ее: — «А что ж батюшка Родион не стоит?» — И она ей ответила, что подвиги святых людей бывают разные, что наши страсотерпцы больше по киевским пещерам, а потом по дремучим лесам спасались или же достигали царствия небесного в образе нагих, непотребных юродов. В ту зиму узнала Анна и о русских угодниках — о своих духовных пращурах: о Матфее Прозорливом, коему было даровано видеть в мире лишь одно темное и низкое, проникать в сокровеннейшие скверны людских сердец, прозревать лики подземных диаволов и слышать нечестивые советы их, о Марке Гробокопатели, посвятившем себя погребению мертвых и в непрестанной близости со Смертью обретшем такую

власть над Нею, что Она трепетала его голоса, об Исаакии Затворнике, одевшем свое тело в сырую шкуру козла, навсегда к нему приросшую, и предававшемуся безумным пляскам с бесами, по ночам увлекавшими его в скакания и вихляния под громкие свои клики, дудки, тимпаны и гусли... «От него, Исаакия, и пошли юродивые, — сказала ей Катерина, — а сколько их было потом, того и счесть нельзя! Батюшка Родион так баял: ни в одной стране их не было, только нас посетил ими Господь по великим грехам нашим и по великой своей милости». — И прибавила, что слышала в обители, — скорбную повесть о том, как ушла русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобия, от свирепых татарских орд и от прочих Господних кар — от мора и глада, от пожарищ и небесных знамений. Было тогда, сказала она, столь многое множество Божьих людей, Христа ради страдавших и юродствовавших, что по церквам от писку и крику их не слышать было божественного пения. И не малое число из них, сказала она, сопричислилось к лику небесному: есть Симон, из приволжских лесов, что скитался и прятался взора человеческого по диким урочищам в одной рубахе издранной, после же того, обитая в городе, каждодневно был бит гражданами за непотребство свое и скончался от ран, причиненных побоями; есть Прокопий, принимавший непрестанные муки в городе Вятке, зане в ночи взбегал он на колокольницы и бил в колокола часто и с тревогою, как бы во время огненного запаления; есть Прокопий, родившийся в зырянских краях, среди дикарей звероловцев, всю жизнь ходивший с тремя коцерами в руках и обожавший пустые места, грустные лесные берега над Сухоною, где, сидя на камушке, со слезами молился о плывущих по ней; есть Яков Блаженный, что приплыл в гробной дубовой колоде

по речке Мсте к темным жителям той бедной местности; есть Иоанн Власатый, из-под Ростова Велико-го, волосы имевший столь буйные, что в страх повергались все видевшие его; есть Иоанн Вологодский, нарицаемый Большой Колпак, ростом малый, лицом морщиноватый, весь крестами увешанный, до кончины не снимавший с себя колпака, чугуну подобного; есть Василий Нагоходец, вместо одежды носивший и в зимний хлад, и в летний вар лишь цепи железные да платочек в руке... «Ныне, сестра, — сказала Катерина, — все они предстоят Господу, радуются в сонме святых Его, мощи же их нетленные почи-вают в раках кипарисных и серебряных, в святолепных соборах, рядом с царями и святителями!» «А что же батюшка Родион не юродствовал?» — опять спросила Анна. И Катерина ответила, что он пошел по стопам подражавших не Исаакию, а Сергию Радонежскому, по стопам зиждителей монастырей лесных. Батюшка Родион, сказала она, спасался сперва в одной древней и славной пустыни, основанной на тех самых местах, где среди дремучего леса, в дупле трех-векового дуба, жил некогда великий святой; там нес он строгое послушание и принял пострижение, удостоился, за покаянные свои слезы и бессердечие к плоти, лицезрения самой Царицы Небесной, выдержал обет семилетнего затвора и семилетнего молчания, но и этим не удовольствовался, оставил монастырь и пришел, — уже много, много лет тому назад, — в наши леса, надел лапти лыковые, белый балахон из вретница, эпитрахиль черную с осьмиконечным крестом на ней, с изображением черепа и костей Адамовых, вкушает лишь воду и снятку невареную, окошечко своей хижины заградил иконою, спит в гробу, под негасимую лампадою, и в полночные часы nepřестанно осаждают его звери воюющие, толпы мерт-вцов яростных и диаволов...

Пятнацати лет от роду, в ту самую пору, когда

надлежит девушке стать невестою, Анна покинула мир.

Весна в тот год пришла ранняя и жаркая. Ягода поспела в лесах несметная, травы были по пояс, и с начала Петровок уже пошли косить их. Анна с охотой работала, загорела на солнце, среди трав и цветов; румянец темней пылал на ее лице, сдвинутый на лоб платок скрывал теплый взгляд очей. Но вот однажды, на покосе, большая блестящая змея с изумрудной головой обвилась круг ее босой ноги. Схватив змею своей длинной и узкой рукой, сорвав с себя ее ледяной и скользкий жгут, далеко отбросила его Анна и даже лицо не подняла, а испугалась крепко, белей полотна сделалась. И Катерина сказала ей: — «Это тебе, сестра, третье указание: бойся Змея-Искусителя, опасная пора идет к тебе!» — И от испугу ли, от этих ли слов, только с неделю после того не сходил с лица Анны смертный цвет. А под Петров день нежданно-негаданно попросилась она пойти в обитель ко всеобщей — и пошла и ночевала там, а на утро удостоилась стоять в народной толпе у порога отшельника. И великую милость оказал он ей: изо всей толпы ее выглядел и поманил к себе. И вышла она от него, низко склонив голову, пол-лица закрыв платком, сдвинув его на огонь своих жарких ланит и в смятении чувств не видя земли под собой: избранным сосудом, жертвой Господу назвал он ее, зажег две восковых свечечки и одну взял себе, другую дал ей и долго стоял, молясь перед образом, а потом велел ей приложиться к тому образу — и благословил быть через малый срок в обители на послушании: — «Счастье мое, жертва немудрая! — сказал он ей. — Будь невестой не земной, а небесною! Знаю, знаю, сестра тебе приуготовила. Потщусь и я, грешный, о том».

В обители, в иночестве, отрешенная от мира и от своей воли ради духовного своего восприемника, Ан-

на, нареченная при постриге Аглаей, пробыла тридцать три месяца. На исходе же тридцать третьего — преставилась.

Как жила она там, как спасалась, о том, за давностью времени, в полноте никому неведомо. Но все же кое-что в народной памяти осталось. Шли однажды бабы богомолки из разных и дальних краев в тот лесной край, где родилась Анна. Встретился им у речки, через которую им нужно было переправиться, привычный скиталец по святым местам, видом невзрачный, отрепанный, даже, просто сказать, чудной: глаза у него под старым господским котелком были платком завязаны. Они стали его спрашивать о путях, о дорогах к обители, о самом Родионе и об Анне. Он, в ответ им, сперва о себе поговорил: я, мол, сестрицы, и сам знаю не Бог весть что, однако ж побеседовать с вами отчасти могу, ибо возвращаюсь именно из тех местностей; вам, сказал, небось жутко со мной — и я не дивлюсь этому, многим со мной не мед: пеший ли, конный ли встретится, видит — идет по лесу странничек, ковыляет себе один одинешенек с белым платком на глазах да еще псалмы распевает — понятно, оторопь берет; уж чересчур, по грехам моим, жадные да быстрые глаза у меня, зрение столь редкостное и пронзительное, что я даже ночью как кошка вижу, будучи и вообще не в меру зряч, в силу того, что не с людьми я иду, а сторонкою; ну, вот и решил я сократить немного свое телесное зрение... Потом он стал рассказывать, сколько, по его расчету, осталось богомолкам идти, на какие местности надо путь держать, где иметь ночевки и отдыхи и какова обитель есть:

— Сперва, — сказал, — придет село на Свят-Озере, потом та самая деревня, где родилась Анна, а там увидите вы другое озеро, монастырское, хоть и мелкое, а порядочное, и придется вам по этому озеру в лодке плыть. А как высадитесь, тут уж и самый мо-

настырь рукой подать. Понятно, и на том берегу леса без конца, а сквозь лес глядят, как обыкновенно, стены монастырские, главы церковные, кельи, странноприимницы...

Потом долго повествовал о житии Родиона, о детстве и отрочестве Анны, под конец же рассказал о ее пребывании в обители:

— Пребывание ее было, ох, недолгое! — сказал он. — Жалко, говорите, такой красоты и младости? Нам-то, глупым, понятно, жалко. Да, видно, о. Родион хорошо знал, что делает. Он ведь и со всеми таков бывал — и ласков, и кроток, и радостен, а настойчив до беспощадности, с Аглаей же особенно. Был я, бабочки, на месте ее упокоения... Длинная могилка, прекрасная, вся травой заросла, зеленая... И не скрою, не скрою: это там, на могиле, выдумал я завязать себе глаза, это Аглаин пример надоумил меня: ведь она, надобно вам знать, за все свое пребывание в обители ни на единый час не подняла очей — как сдвинула покров на них, так и осталась, и на речь так скупа была, так уклончива, что даже сам о. Родион дивился ей. А ведь, небось, не легко было ей такой подвиг поднять — с землей-то, с лицом-то человеческим навсегда расстаться! И работу она несла в обители самую тяжкую, а ночи на молитве простаивала. Да зато, говорят, и возлюбил же ее о. Родион! Из всех отличил, каждодневно допускал в свою хижинку, вел с ней долгие беседы о будущей славе обители, открывал ей даже свои видения — понятно, с строгим заповеданием молчания. Ну, вот и сгорела она, как свеча, в самый краткий срок... Опять вздыхаете, жалкуете? Соглашаюсь: горестно! Но я вам гораздо больше скажу: за великое ее смирение, за неглядение на мир земной, за молчание и непосильное трудничество он совершил неслыханное: на исходе третьего года ее подвига он посихимил ее, а потом, по молитве и святому размышлению, призвал ее к себе

в единый страшный час — и повелел кончину принять. Да, так прямо и молвил ей: — «Счастье мое, приспела твоя пора! Останься в моей памяти столь же прекрасною, как стоишь ты в сей час предо мной: отойди ко Господу!» И что ж вы думаете? Через сутки она и преставилась. Слегла, запылала огнем — и кончилась. Он, правда, утешил ее — поведал ей перед кончиной, что, поелику лишь малое из тайных его бесед не сумела она скрыть в первые дни послушания, истлеют у нее лишь одни уста. Он пожаловал серебра на ее похороны, меди для раздачи при ее погребении, колоток свечей на сорокоуст по ней, желтую рублевую свечу ко гробу ее и самый гроб — круглый, дубовый, выдолбленный. И по его благословию, положили ее, тонкую и росточком отменно долгую, в тот гроб с волосами распущенными, в двух рубашках-саванах, в белом подряснике, опоясанном черною покромкою, а поверх его — в черной, с белыми крестами, мантии; на головку надели зеленую шитую золотом шапочку из бархата, на шапочку — камилавочку, после же того повязали синей шалью с кисточками, а в ручки вложили кожаные четочки... Убрали, словом, куда как хорошо. А все же, бабочки, есть каверзный, бесий слух, что умирать ей не хотелось, ох, как еще не хотелось-то! Отходя в такой младости и в такой красоте, со всеми, говорят, в слезах она прощалась, всем говорила громко: — «Простите меня!» — Напоследок же закрыла глаза и раздельно молвила: — «И тебе, Мати-Земля, согрешила есмь душой и телом — простишь ли меня?» А слова те страшные: припадая челом к земле, их читали в покаянной молитве по древней Руси за вечерней под Троицу, под языческий русальный день.

Июль 1916 г.

ТРЕТЬИ ПЕТУХИ

На рассвете, в тумане и сумраке, когда все еще спали в городе Синопе, подошел к Синопу разбойничий корабль.

Петухи пели по всему нагорному берегу, по всему селению в этот темный и сладкий час, и с разбойничьего корабля, с дружной радостью, откликался им разбойничий петух.

Спали в Синопе сторожа и все жители, а разбойники, вполслуха переговариваясь, спустились с корабля в челнок, на пахучую, свежую воду, доплыли на веслах до берега и пошли к жилищам, крадучись.

Не пощадили они, волки, ни старого, ни малого!

А награбив добра, загубив пять невинных душ, — пятерых кровных родичей Фомы Угодника, синопского Святителя, — воротились они на корабль и, подняв паруса, опять ушли на море.

И там был у них буйный пир.

И ели, и пили, и плясали, и пели они — до самого вечера.

А к вечеру повалились, пьяные, по корабельным каморам, не убрав парусов, не засветив огня, не поставив ни кормчего, ни дозорного.

И вот пали сумерки на море, и сделалось великое безмолвие.

Как пустыми рукавами болтая ветрилами, плыл корабль без пути, без направления.

А по каморам, в зловонной темноте, тяжело храпели пьяные.

И сказал Господь:

— Так злодеям и надобно.

— Замолчите, птицы морские белые, не падайте со скрипучими криками над волною морской, — не будьте безмолвия и спящих разбойников.

— Се восстану Я в ветре с Запада, осыплю Понт как бы черным песком — и промчусь над ним вихрем и красной молнией:

— Горе вам, пьяные разбойники!

— Килем вверх, с громом и бурей, перекину Я ваше утлое убежище!

— В хлябь морскую низвергну вас, поправших уставы человеческие и Божеские!

Только кто это светится тонким призраком и поспешно спускается в темные каморы корабельные? Это Фома, Святитель морской.

Он толкает, будит разбойников, говорит им быстрым голосом:

— Ах, скорей вставайте, разбойники! Бегите наверх, спускайте паруса, ставьте кормчего, — идет на вас великая беда!

И разбойники в страхе вскакивают, бегут кто куда по палубе, — за канаты парусные, за рулевые рога хватаются, а уж ветер по морю мечется, рвет паруса, валит с ног разбойников:

— Спасайтесь душегубы, Каины!

И, пока они бьются, спасаются, призывает гневный Господь в Свои небеса, под красные молния, Фому-Угодника:

— Говори Мне, Святой, — не из того ли ты города, где злодеи бесчинствовали?

И отвечает Святой в трепете:

— Оттоле, Господи.

— Было ль тебе ведомо, что желал я погубить разбойников, силой похоти и своеволия воздвигнутых на попрание уставов Божиих, зарезавших пятерых твоих кровных родичей?

— Было, Господи.

— Ради чего же ты осмелился Мне противиться?

И опускается святой на колени перед Господом:

— Ради третьих петухов, Господи, в слезы любви и раскаяния некогда повергнувших Петра-Апостола:

— Как подумал я, что не слышать больше разбойникам того радостного предутреннего голоса, восскорбела моя душа горькой нежностью.

— Ей, Господи! Сладка земная жизнь, Тобой данная!

— Ради одного этого голоса, новый день, новый путь темным и злым людям обещающего, будь во веки веков благословенно земное рождение!

И прощает Господь Фому-Угодника.

1917.

ПЕСНЯ О ГОЦЕ

Течет река к морю, идет год за годом. Каждый год зеленеет к весне серый лес над Днестром и Реутом.

Сто лет до нас весна была не хуже, но правды на земле было еще меньше. Владели Молдавией стамбульские турки, на престол молдавский сажали господарями греков. Господарь жил султаном, боер, помещик, господарем, а податной, сардарь, — как господарь и боер вместе. За народ и за Христову веру стояли одни гоцы.

Посмотри, говорят в народ, посмотри в темноту за Реутом, если доведется тебе ехать по берегу ночью: ты увидишь скалы, черную пещеру в их обрыве, а в пещере — груду тлеющего жара. Но то не жар, не угли, а червонные старые деньги. Вход в пещеру узок, с каменным порогом. У стены налево — каменный дымник, у стены направо — каменное ложе. А над ложем ниши: в них когда-то стояли святые иконы. И над каждой нишей вбит костыль из железа: на тех костылях теплились перед иконами лампы. Золото насыпано на полу по середине: не все успел раздать бедным гоц-войник, что жил в этой древней келье, до него служившей приютом святому, Божьему человеку. Верный конь гоца пасся на речном побережье. А самого гоца, — пусть радуется Господь его грешную душу! — носили на отдых в пещеру орлы на широких крыльях.

Был тот гоц не талгарь, не разбойник: конокрадам-фараонам ломал ноги, грабил одних богатых, из добычи оставлял себе сотую долю, остальное раз-

давал неимущим, убивал, только защищаясь, в середине и пятницу постился. Знаешь, какой наряд носил он? А такой, что любой пастух носит: ступни в свиной коже, шаровары и рубаха из холстины, за поясом нож, пистолы, плоска, — по господски, фляга, — на голове баранья шапка, на плечах просторная манта из овечьей шерсти, за плечами карабин короткий. А сам он был статен, как тополь, и, как дуб, крепок, силен, как волк, скор, как мысли, горяч, как любовь к милой, верен, как, смерть, с бедным щедр и ласков, с властным — беспощаден; высоки, покаты были его плечи, широка, волосата грудь, тонка талия, усы русые, длинные, лицо словно золото с бронзой, глаза — огонь ясный.

На десятый год своих подвигов пошел гоц в Святую ночь помолиться в Божьей церкви.

Он убил пятнадцать греков, — ты ведь их знаешь: положи в давилню десять турок, десять жидов некрещенных да десять собак паршивых, — потечет кровь грека; он ограбил тридцать сардарей, — они были богаче самого князя, снимали на подать крест и рубаху; он поймал в лесу и подковал конской подковой исправника-турка; он сложил сто двадцать песен, выпил вина сорок бочек, танцевал и в корчмах и на свадьбах; у него был конь рыжий, — быстрый, как ветер, умный, как лисица, никогда не хромавший, никогда не потевший, даром, что малый и дробный. Девять лет не был гоц в церкви, хоть и думал о Боге не меньше нас с тобою, на десятый год собрался — и дал себе крепкую клятву: что бы ни случилось, никого в эту ночь не обидеть, будь то хоть сам дьявол.

Он оставил коня в поле, кинул на лукú поводья, а сам пошел по деревне. Шел он и видел огни в хатах, убранные столы к Пасхе, выбеленные печи. Но в одной, самой старой и убогой, окна были темны, — видно, там даже на огонь не хватило. И стало гоцу

скучно, — ведь в такой же он сам вырос, — и с недобрим сердцем вошел он в церковь. Почуяло его сердце, что не даст ему земля покоя даже и в Христову полночь, — так оно, по Божьему хотенью, и случилось. В церкви былолюдно, у всех в руках свечи, на всех лицах радость. Стал гоц где потемнее, — выше всех был он ростом, — сотворил усердную молитву, оглянулся и видит: стоит рядом с ним ребенок, заморенный, в лохмотьях, держит руку матки, бледной и бедно одетой, а хорошей и с большими глазами. Гоц наклонился и спросил тихонько: — «Женщина, кто ты такая, отчего ты бледна, равнодушна?» — Женщина робко взглянула на гоца и, склонивши глаза, промолчала. И в другой раз спросил он, еще тише: — «Не твоя ли это хата у балки, не в твоей ли это хате темно в окнах?» — Но опять ничего не ответила matka, только поспешно отвернулась и закрестилась на иконы. И перестал гоц слушать, что пели и читали на амвоне: — «Побей меня Крест и Божья Матерь! — подумал он с тоскою. — Крепкий дал я себе зарок никого в эту ночь не обидеть, да не терпит мое человечье сердце!» — И, не кончив молитвы, скорым шагом вышел вон из церкви. Далеко за балкой, за прудами, насквозь, фонарем, светился богатый дом в поместье. Как хозяин, поднялся гоц на крыльцо того дома, разогнал собак плетью и, как хозяин, вступил в светлые господские покои, а что было дальше, ты и сам можешь догадаться.

В ту Христову полночь та бедная молдавка, что ни слова не сказала гоцу в церкви, долго не решалась войти в свою хату: возвращаясь к этой хате, не раз проходила она мимо, думая что не ее эта хата — так светло было от господских свечей в ее окнах, так богато стол был убран господской яствой. И сидел за тем столом высокий и могучий воиник. В ту Христову полночь стала вдова-молдавка возлюбленной гоца. И три года любила она гоца горячо и верно. А

на четвертый подкупил ее вамиш, исправник, и предала она, Иуда, гоца в его руки. Тут чауши, пандуры и армаши окружили ее хату, когда гоц отдыхал от далекой дороги, и хотели взять его живого. Он проснулся, схватился за пистолы, вышиб ногой дверь хаты, сказал свое тайное слово, напустил на врагов своих туману, свистнул коня Ройбу, вскочил в седло и помчался, стреляя назад из пистолей. Да враги от него не отставали. Вплавь переплыл конь реку, переплыл другую, переплыл и третью, и уж близки были леса Кодри, где бы гоц укрылся. Да арнаут, сыщик, — чтобы его земля поглотила! — стал заряжать карабин не пулей, — не брала гоца пуля, — а серебряной монетой и пробил гоцу спину, а коню его — ногу. Конь споткнулся, гоц упал на землю — тут его туго связали, каблуком проломили ему темя и в оковах повезли на телеге в Яссы... Добрые Христовы люди, было это тоже в Светлый Христов праздник!

Вот тянут в гору телегу, обитую железом, волы голубые. На телеге лежит гоц с кровавою раной, рядом идет старая мать гоца, отирает кровь раны, молит волов круторогих: — «Вы потише, волы, везите, прошу вас о том со слезами, — не трясите телегу, в ней мой сын умирает!» — И, как вода, тихо-тихо качается телега, и говорит войник: — «Уходи, родная, со своей печалью, а меня оставь с моим огнем-раной! — Да нет, это так поется в песне. Родная мать гоца тогда еще не слыхала, что везут ее сына в яскую темницу. И не знала она долго, как он там томился, как его пытали. Суд людской не скорый, и опять прошло три года, и опять пришел праздник. Тут сказал гоц стражам: — «Добрые Христовы люди, есть у меня в душе мука, взял я у господина большой кошель с деньгами и не видел, что в деньгах тех — медный образок на голубой ленте: это образок младенца, дайте мне вернуть его господину, укажу вам за услугу место великого клада и обещаю»

самим Богом воротиться в темницу; снилось мне, что боер тот приехал в Яссы, торгует коней на базаре, — отдам ему иконку и опять приду в оковы».

Ты думаешь, что гоц не вернулся, что свистнул он Ройбу, на свободе гулявшего в Кодрях? Нет, гоц не разбойник, слово его твердо. Он нашел на базаре господина, он отдал образок младенца в хозяйские руки. А когда сделал дело и вернулся в темницу, повели его на суд к князю. Во дворце было войско, много народу и начальников много. А сам князь, в чалме и кафтане, сел на золотом троне и спросил гоца: — «Где те деньги, что ты накрал, награбил?» — И ни слова ему гоц не ответил, молча стоял перед троном, величавый и грозный. Тогда князь понял, что спрашивал дерзко, и спросил иначе: — «Где те деньги, что ты отнял у богатых!» — И ответил гоц князю: — «Господарь, ваше высочество, вот и всегда говори так с народом: умно и учтиво. А где деньги, что отнял я у богатых, про это знает только мой конь Ройбу. И не тебе и не твоим слугам я отдам их: вы все равно проиграете их в карты, на вине пропьете!» И ударил князь связанного гоца в щеку. — «Так и Христа Бога били на суде Пилата», — сказал гоц тихо, от гнева. И князь грозно крикнул: — «Молчать, талгар, разбойник!» — И сказал гоц князю: — «На кресте, ваше высочество, простил разбойника Сын Божий!» И ударил князь гоца еще злее и велел предать его казни.

Ты, зеленый лист дикой яблони, вы, высенние Кодри, и вы, быстрые реки! Ни сила, ни хитрость, ни талисманы, ни заговóры не спасли бы его от позора. Уж стучали топорами на площади в Яссах, уж вострил палач на белую шею гоца свою тяжкую секиру. Да дошла, долетела весть о близкой казни гоца до его родного дома. Встань, Божий воиник, слушай: вот заплакала старшая сестра твоя, с черной косой, но бессильны ее слезы; вот заплакала средняя твоя се-

стра, с рыжей косой ниже стана, но и она помочь не в силах; вот заплакала твоя младшая сестра, ребенок, — расступаются от слез ее Кодри, разливаются реки, раскрываются ущелья. А теперь, гоц, крепче схватись за темничную решетку: чуешь, чей голос вступает?

Как заплакала мать гоца, задрожала его тесная темница, зашатались стены, затрещала ржавая оконная решетка.

Как заплакала мать гоца, в прах рассыпались его оковы, вышел он на вольное поле и ударил сильною ногою в землю:

— Гей, гей, добрые люди! Попомню я вам ваш Христов Праздник!

Март 1916 г.

НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА

...А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых). Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли что было у нас когда-то и что в Европе еще есть! Двести, триста верст у нас теперь не шутка. Расстояние в России, опять превратившейся в Московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй. Но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно.

Словом, случилось нечто необычное, много лет мною не испытанное: в один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне «нестерпимой». Да, она очень противна. И едуци на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и «пупках», выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду! Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья! На площадях перед вокзалами тоже «пупки», вечная куп-

ля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда — не протолпишься: поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захоластный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера.

Я приехал за два часа до поезда и чуть было не поплатился за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как (то есть, конечно за взятку) дело устроилось, я и билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади и пошли давным давно невиденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все, набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русский мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И, не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре: стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа — неч-

то ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. «Возвращаюсь, говорит, домой, в деревню, там мне дали надел при моем бывшем имении, и я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете, кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему — своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке...» Солнце серебряным диском несло уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке — и заковылял, заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари.

А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в одиннадцатом часу. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал да и отправился восвояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию на ночь запирают, да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет, — «теперь, брат, господ нету!» — а ночевать на полу даже и «советским» подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика? Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним. Он только рукой махнул. «Кто теперь поедет! Лошадь редкость, вся снасть сбита... Стан колес — два миллиарда, выговорить страшно...» Я спросил: а если пешком? — «А вам далеко?» — Туда-то — «Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете». — Да ведь, — говорю, — по лесу да еще пешком? — «Что ж что по лесу! Дойдете». Но тут же рассказал, как весной два каких-то «человечья» наняли так-то «мужичья» в ихнем селе да и пропали вместе с ним: «Ни их, ни его, ни лошади,

ни снасти... Так и неизвестно, кто кого растерзал — они его или он их... Нет, теперь не прежние время!»

Разумеется, после такого рассказа у меня пропала уже всякая охота пытаться ехать ночью. Решил дожидаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции, — «их тут целых два», сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах, — не пустили. «Вот чайку, если угодно, пожалуйста, — сказали в одном. — Чай мы подаваем...» Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: «Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра». — «Да на крыльце вам будет неудобно...» — «Все удобнее, чем на дороге!» — «А вы безоружный?» — «Обыщите, сделайте милость!» — И вывернул все карманы, расстегнулся. — «Ну, как хотите, на крыльце, пожалуйста, можно, а то и правда, в избу вас никуда не пустят, да уж и спят все...» И я вышел и сел на крыльце, и скоро огонь в трактире погас, — в соседнем его давно не было, — и наступила ночь, сон, тишина... Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся, стала на том месте поблескивать зарница... Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку... Во втором часу по дороге послышался перелив колесных спиц, толканье ступок на осях — и немного погода к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским, условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью, — и началось что-то таинственное: бесконечное тасканье из сеней чего-то вроде овчин и укладыванье их в телегу приезжего, и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы,

дорогу. Дул уже свежий ветер и вдали угрожающе постукивал гром. А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я однако ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал: как идти двадцать верст после бессонной ночи?

Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть и все вокруг стало принимать дневной, будничной вид, мне неожиданно посчастливилось. Мимо трактира пронеслась на станцию коляска, — привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д., находящимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира, и, когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвезти меня. Человек оказался очаровательный, — детски наивный гигант, всю дорогу повторял: «Глаза бы не глядели! Слезы!» Меж тем всходило солнце, и седловатый, широкозадый, шальной и оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька... Давно, друг мой, не катался я в колясках!

Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный, — самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы, расписывал красо-

ты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе: зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов; а кругом — заповедные леса, глушь и тишина неопишуемая. Преобладает бор, мрачный, гулкий. И по вечерам в его глубине мне чувствовалась не то что старина, древность, а прямо вечность. Зари — только ключья: только кое-где краснеет из-за вершин медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло нагретой за день хвои мешается с острой свежестью болотистых низин, узкой и глубокой реки, потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно, — мертвое безмолвие, только играют козодои: один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет и выступают над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины, и в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот, по вечерам я бродил в бору под ворожбу козодоев, по ночам слушал, сидя на крылечке, филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, — истинно бывшей, потому что из ее владетелей не осталось в живых ни единого... Она несказанно прекрасна.

Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые затоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зе-

ленные тупые морды... А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.

Она осталась, по счастливой случайности, нетронутой, неразграбленной и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу; дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов, и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом или вернее дворец строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле, с короткой винтовкой на коленях, однурукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, «народное достояние» и должен быть под стражей. Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, — в нем, в этом сиденьи, было даже что-то жуткое. Но однурукий, коротконогий болван с желто-деревянным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо.

— Вы его, барин, не бойтесь, — сказал мне про него кучер тем тоном, каким говорят о собаках, — я ему скажу про вас, он вас не тронет.

И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказали заколоть меня, он, разумеется, заколот бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, и я мог

свободно проводить целые часы в покоях дворца как дома. И я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы... Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. (Если бы ты знал, как мой взгляд отвык не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты!). В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахином из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем — средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты... Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина. С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно с золотой пластинкой, на которой выгравировано, что это — частица флагманского корабля «Св. Евстафий», погибшего в битве при Честме «во славу и честь Державы Российския...» Да, во славу и честь Державы Российския... Странно это теперь звучит, неправда ли?

Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два по-

следние века. В одной зале огромный телескоп, в другой гигантский планетарий, а на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия, прочитал на шершавой бумаге строки:

Успокой мятежный дух
И в страстях не сгорай,
Не тревожь меня, пастух,
Во свирель не играй, —

и долго стоял очарованный: какой ритм и какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств! Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только «пупки», пишут иначе: «Солнце, как лужа кобылей мочи...» А в другой раз мне попало под руку первое издание Боратынского, и я словно нарочно, развернул книжку на стихах:

Что ж, пусть минувшее исчезло сном летучим
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей...

А перед отъездом был я в знаменитой церкви. Она в лесу, на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами — изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью. А в узкие окна видно, как ветер ворочает косматые главы сосен, величаво и дико раскинутые из обрыва в уровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные

гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми глазами, что царствуют в покоях дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим... А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер, — все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушения Державы Российской, равного которому не знает человеческая история!

И это было мое последнее посещение усадьбы. На другой день я уехал...

А теперь, как видишь, я опять в Москве. И прошло уже больше месяца, как я вернулся, но сильное и, главное, какое-то невыразимо странное впечатление, привезенное мною в Москву, не оставляет меня. И я думаю, что и не оставит. Ведь то, что так живо и остро почувствовал и понял я во время этой поездки, зрело во мне уже давным давно. И не предвидится да и не может быть впереди ничего, что могло бы рассеять мое теперешнее состояние: они, эти люди так называемой новой жизни, правы — к прежнему, к прошлому возврата нет, и новое царит уже крепко, входит уже в колею, в будни. Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым

связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения: ухожу в «Элизей минувшего», как бы в некий сон, блистающий подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с лазурными глазами в пустом дворце в подмосковных лесах.

Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб однако до конца, подобно тысяче прочих, сваленных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно приходить в себя и наконец совсем пришел и даже получил возможность подняться и опять выбраться на белый свет. Теперь он опять среди живых, опять приобретает знакомую привычку быть как все, — будто как все, — опять видит город, небо, солнце, опять заботится о пище, об одежде, о крове и даже о житейском занятии, положении. Но, друг мой, проходит ли даром человеку смерть, хотя бы и временная? А главное, как переменился, как сказочно переменился даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле! Такого крушения, такой перемены лица земли за какие-нибудь пять лет, в истории, повторяю, не бывало. Представь себе почти мгновенную гибель всего античного мира — и несколько человек, погребенных под развалинами, под лавинами варварских орд, и затем внезапно очнувшихся через два, три столетия: что должны они чувствовать? Боже, какое, прежде всего, одиночество, какое несказанное одиночество! И вот уже давно стало расти во мне некое наваждение. Чем больше привыкал я к тому, что мое восстание из мертвых есть явь, суцая правда, тем более овладевало мною чувство страшной перемены, происшедшей на свете, — я, конечно, не о внешнем говорю, хотя и во внешнем мы дошли до неслыханной и уже во веки непоправимой мерзости, — и начал я оглядываться кругом все

пристальнее, вспоминать свою домогильную жизнь все явственнее... И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому недоступной обителью моей души!

Да, уезжая из Москвы, проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно, с особенной остротой: до чего я человек иного времени и века, до чего я чужд всем ее «пупкам» и всей той новой твари, которая летает по ней в автомобилях! Затем вспомни вокзал, с которого я уезжал, вагон, в котором я добыл себе место, моего соседа, пившего молоко из бутылки... Вспомни профессора с его мешками, с его научными мечтаниями и ту просеку, по которой одиноко — о, как страшно одиноко! — заковылял он... Как поразили меня те минуты, когда поезд стоял на полустанке, где он слез, — эти первые впечатления полевой тишины, лесной глуши, запаха берез, цветов, вечерней свежести! Боже мой, Боже мой, опять, — после тысячи лет самой страшной в мире каторги! — опять это святое, чистое безмолвие, закатывающееся за лесом солнце, даль, пролет в просеке, горькие и свежие ароматы, сладкий холодок зари... И чувство моей отчужденности от этого «советского» вагона, на площадке которого я стоял, и от русого мужика, который спал в нем, вдруг приобрело во мне такую глубину и силу, что на глаза мои навернулись слезы счастья. Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиенных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся, я опять живу и даже вот путешествую. Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную! Я живу, — и порою, как вот сейчас, даже в какой-то восторженной радости, — но с кем и где?

И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня только моим прошлым. Разве я воспринимал ее как ночь в июне тысяча девятьсот двадцать третьего года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних ночей. Прежние были и зарницы, и гром, и свежий ветер, с которым приближалась гроза... Они и совсем увели меня в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители. И теперь неотступно стоит передо мною это солнечное царство летних дней, бора и сказочно-спящего дворца, затерявшегося в бору, этих ворот со львами и бурьяном наверху, мрачных еловых ущелий, обмелевших прудов со стайками трясогузок на травянистых берегах, озера, заросшего осокой, навсегда опустевшей церкви и пустых, блистательных зал, полных образами покойников... Не могу тебе передать изумительного чувства, все еще не покидающего меня: до чего они ужасающе живы для меня!

Помнишь ли ты те стихи Баратынского, из которых я привел тебе несколько строк и которые так совпали с тем самым важным для всей моей теперешней жизни, что таится в самом сокровенном тайнике моей души? Помнишь, как кончается эта элегия, посвященная предчувствию того Элизея, который прозревал Баратынский под тяжестью своих утрат и горестей? Среди запустения родных мест, среди развалин и могил, я чувствую, говорит он, незримое присутствие некоего Призрака; и он, «сия Летийская тень, сей Призра́к» —

Он убедительно пророчит мне страну
 Где я наследую *несрочную весну*,
 Где разрушения следов я не примечу,
 Где, в сладостной тени невянущих дубов,
 У нескудеющих ручьев,
 Я: тень священную мне встречу...

Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме «Летийских Теней» и той «несрочной весны», к которой так «убедительно» призывают они нас?

Приморские Альпы. 5. X. 23.

NOTRE-DAME DE LA GARDE

Вагон был полон рабочими, — было воскресенье.

Против меня сидел каменщик, длинный и худой, как Дон-Кихот, весь спеченный солнцем, морщинистый, заросший серой щетиной, испачканный известкой, ввевшейся в его одежду, в рыжую обувь и в руки, и не спеша жевал, поочередно отрезая кривым ножиком то ломтик сизой тугой колбасы, то кусок белого хлеба. Все в нем было по южному сухо, коряво, все жестко и грубо, — одни глаза, безразлично и устало смотревшие на меня, были кротки и укоризненны.

Остальные были молодежь, итальянцы и провансальцы. И все они, не смолкая ни на минуту, быстро и непонятно говорили, раздражались хохотом и орали, громко шлепали друг друга. Они то и дело, кто в лес, кто по дрова, затягивали «Интернационал» или хором кричали: “à bas la guerre!” — хотя никакой войны нигде не было и не предвиделось, — и залихватски свистали.

На остановке в Сэн-Рафаэле по вагону прошли с опущенными глазами две монахини, кланяясь и предлагая купить бумажный цветок и, в придачу к нему, взять маленькую картиночку — изображение Марсельской Божьей Матери Заступницы, *Notre-Dame de la Garde*. Как ровен и чист был прекрасный цвет их молодых, нежных лиц, оттененных черными капюшонами, как смиренны и девственны склоненные ресницы, как целомудренны прямо, аттически падающие линии черных ряс, подпоясанных длинно-ви-

сящим жгутом! Их встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел вслед за ними, прошелся по платформе... Стены станции пестрели цветистыми плакатами античных руин, средневековых соборов; был тут автокар, полный туристов, поднимающийся по извилистой, идеально-живописной Альпийской дороге, был идеально-счастливый молодой человек, с открытой головой сидящий на руле в легкой и длинной машине, уносящей его к лазурному озеру, к идеально-светскому курорту... Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно и молодо синело меж их гирляндами... Я пошел в конец поезда, где прицепливали, повидимому, пустой вагон, пришедший с ветки. В самом деле, он был почти пуст. Я вскочил в него и едва успел сесть, как поезд тронулся дальше.

В вагоне сидело только двое: удивительной полноты молодая женщина, возле которой пламенели две корзины с крупными томатами, а напротив нее — престранная для французского вагона фигура, одна из тех личностей, от которых уже давно отвык мой глаз: старичок-странник. Женщина, несмотря на полноту и черные усики, цвела красотой и тем преизбытком здоровья и великолепной, пурпурно-лиловой крови, которые встречаются, кажется, только в Провансе. А старичок был легонький, сухонький, с босыми, темно-желтыми от загара ножками, с редкими и длинными бесцветными волосами, в которых сквозил коричневый череп, в белом балахончике и с двумя белыми мешочками по бокам, надетыми крест-на-крест: совсем бы русский старичок, если бы не тонкость и чистота черт лица. И он сидел и вслух, но так, точно в вагоне кроме него никого не было, читал. Он бегло, дружелюбно, спокойно взглянул на меня и продолжал читать:

— Seigneur, ayez pitié de nous!

— Jésus-Christ, ayez pitié de nous!

Он читал то, что было напечатано на обороте картинки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини: *Litanies de Notre-Dame de la Garde*. Поезд гремел, но он читал ясно и с такой превосходной простотой произношения, что слышно было каждое слово. И так же, как это произношение, был прост и звук, выражение его голоса. Только все время голос его креп и все более приобретал убедительность, уверенность, что его слышат Те, к Кому обращался он.

— Père céleste qui êtes Dieu, écoutez nous, — говорил он Богу почти так, как если бы он говорил: *Monsieur le ministre, écoutez moi*, но именно почти так, то есть не совсем так. Он не умолял, он только почтительно просил, но все-таки с оттенком молитвы, обращения к Отцу Небесному:

— Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous!

— Sainte Marie, Immaculée dans votre Conception, priez pour nous!

Женщина отвернулась к жаркому окну, за которым шли сады и виллы Булюриса, — на глаза ее навернулись слезы. У меня по голове прошел легкий холодок... Да, да, ну пусть их нет, — *Jésus-Christ, Père céleste, Sainte Marie...* Ведь все равно были, есть и во веки будут чувства, коими эти литании созданы. Есть неистребимая и сладостная потребность покорности и даже унижения перед тем высшим, что мы имеем в себе самих, совокупностью чего наделяем мы смертного или Божество и чему мы поклоняемся, возвышая самих себя, поклоняясь всему тому высшему, что есть в нас. Есть в нас некий Дух, неизменно и отлично от плоти чувствуемый нами — *Saint Esprit qui est Dieu*, нечто такое, что для нас непостижимо, что нам, смертным, кажется бессмертным, вечным. И

есть, несомненно есть в нашем порочном, человеческом непорочность как бы нечеловеческая, неизменно нас трогаящая, восхищающая, — так как же может не восхищать Образ этой непорочности чистейший и совершеннейший, пусть даже опять-таки самими нами, в силу нашей горячей потребности, созданный? А старичок, замедляя голос, невольно возвышал его и говорил все проникновеннее:

— *Sainte Marie, saluée par l'archange Gabriel, priez pour nous!*

— *Sainte Marie glorifiée dans votre Assomption, priez pour nous!*

И торжественно и светло звучали слова: *saluée, glorifiée*. Разве слова все одинаковы? Разве не живут они таинственнейшей и разнообразнейшей музыкой, жизнью?

Когда-то мне было странно французское обращение к Богу, к Божьей Матери, к Спасителю на вы, потому что еще чужда была Франция и мертв был язык католической церкви. Потом я не только привык к этому обращению, но почувствовал в нем, в его галльском рыцарстве, какое-то особое очарование.

Старичок читал:

— *Notre-Dame de Grace, priez pour nous!*

— *Notre-Dame de la Garde, Reine et Patronne de Marseille, priez pour nous!*

Reine et Patronne, Царица и Покровительница... Разве не великое счастье обладать чувством, что есть все-таки Кто-то, благостно и бескорыстно царствующий над этим Марселем, над его грешной и корыстной суетой и могущий стать на его защиту в беде, в опасности? И кто эта *Reine*?

— Матерь Господа нашего Иисуса, за грехи мира на кресте распятого, высшую скорбь земную приявшая, высшей славы земной и небесной удостоенная!

Я тоже взял у монахинь цветок и картинку. Теперь я вынул эту картинку и стал рассматривать: она

была прелестна в своей наивности и традиционности, эта столь обычная, ремесленная статуя Богоматери, с Ее юным, благостным и спокойным Ликом, с маленькой короной на голове и большеглазым Младенцем, доверчиво простирающим к миру свои детские ручки с Ее рук, с Ее лона. И я вспомнил далекое счастливое время, когда я впервые видел эту статую в действительности: было весеннее утро, и высоко в бледно-голубом небе стояла Она, *Reine de Marseille*, недоступная земным горестям и волнениям, но неизменно к ним участливая, — реяла на высокой колокольне песочного цвета, издалека видной с путей морских, вознесенной на желтый каменистый пик над всей гаванью, над всем городом со всеми его предместьями и над всеми его нагими, пустынными окрестностями, говорящими уже о близости Испании. Я смотрел на картинку и мысленно повторял за старичком:

— Вы, Кто первая встречаете благословением прибывающих и последняя провожаете им отходящих...

— Неисчерпаемое сокровище наше...

— Никогда не оставляющая наши мольбы напрасными...

— Нами именуемая нашей Доброй Матерью...

— Покровительница рыбаков и корабельщиков...

— Верный путеводитель проповедующих Слово Божие язычникам...

— Охраняющая в битвах наших воинов...

— В чье святилище входим мы с такой радостью...

— Благодатная Звезда морей...

— Маяк Блистающий, указующий нам среди бурь гавань спокойную...

— Вы, на руках своих несущая Повелителя ветров и бурных волн...

— Это хорошо, не правда ли? — прерывая чте-

ние, обратился ко мне старичок так, точно мы были всю жизнь знакомы.

— Очень хорошо, — ответил я от всей души.

Он это почувствовал и спросил, как добрый учитель понятливого школьника:

— А почему?

И тотчас же ответил сам:

— Потому, что здесь выражается все самое прекрасное, что есть в человеческой душе.

— Да, — сказал я. — И нет казни достойной для того, кто посягает хотя бы вот на такие картинки.

Он поглядел на меня, подумал.

— Вы англичанин? — спросил он.

— Нет, русский.

Он легонько улыбнулся.

— Да, конечно, не англичанин. Я так и думал. Англичане никогда не сидят, например, в вагоне просто, ничего не делая: или пристально смотрят в окно, точно изучая что-то, или читают... Ну, да, вы русский. И я знаю, сколько страданий и гонений терпит теперь Россия...

И, опять подумав, помедлив немного, стал дочитывать:

— Утешительница скорбных душ и прибежище бедных рыбаков...

— Посредница милосердная между небом и нами...

— Надежда наша в жизни и Сопутница в час смертный...

— Бдящая над колыбелью нашей и благословляющая нашу могилу...

— Царица земли и небес, молитесь за нас!

И он перекрестился, вздохнул и просто и убежденно сказал, пряча картинку за пазуху:

— *C'est très bon, ça!*

— Ah! oui, — прошептала полная женщина с застенчивой улыбкой сквозь сиявшие на глазах слезы: — *notre berceau et notre tombe...*

За окном слепило солнце и море. Был туннель, грохот, тьма и вонь каменного угля, потом опять блеск, лазурь, свежесть морского воздуха, краснолиловые скалы и синие, синие заливы... Вдруг раздался треск и сверкнули брызги стекла, — вдребезги рассыпалась бутылка, вылетевшая из окна и ловко угодившая в телеграфный столб...

Это забавлялась молодежь.

Приморские Альпы, 1925.

К Р И К

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида.

В Константинополе были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дожждаться в Коваках, у входа в Черное Море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был Чистый Четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропал даром, поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над самым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо!

Он рассказывал, что у него, человека простого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая уби-

того наповал, и задирает свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатках, мундир коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компани тускло и печально горел один рожок. Легкий свежий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стенных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестящие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед, за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под колпаком, каменел рулевой. Они, тоже замороженные ночью и

Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса:

— Пять градусов лево, — бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево, — протяжным сиплым альтом отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и разворачивалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать, — просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать! — на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого борта. Но все в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на скутарийском берегу; рядами усеявшие с верху до низу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буюх, на сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие, высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедие,

древний, дорогой мне купол Софии, сады Сералья и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издалека пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов:

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали...

Вот опять негромкая команда и альт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа skutарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водою, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает, — закрывается выход в Мраморное море, блещущий, как стеклянно-золотое поле, возле Серальского мыса. Это поле меркнет; раздается короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому побережью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленовато-бледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то издалека. Я прислушиваюсь:

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с кормы. — Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда. Сбежал по трапу со спардека, прошел возле мерно и глубоко вздыхающей машины, обдавшей меня своим теплом и запахом разогретого масла... Опять луна

переменила место. Она далеко за кормою, над золотым огромным озером, которым стал теперь Босфор среди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбегав, увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, порывисто поднималась, что-то искала в рогожке, служившей ей вместо молитвенного коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно, кратко, с несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набормотавшись, напевшись спяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстрастно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятным восторгом, как убили его в Аравии... И свалился наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжело томило его в пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидел величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекляневшие от алкогольного яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, растилать эту рогожку... Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Неудержимо катившиеся слезы застлали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

С В Е Р Ч О К

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором, навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вонии и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкало и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранным стуле у горячей печки. Она

грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукивание по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посередине между работавшими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной полокоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, — в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с

трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и при-
норавливая к свету лысую голову, попадал щетиной
в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и за-
креплял конец даже с некоторой удаляю старого, на-
торелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с
выступающими под маслянистой желто-смуглой ко-
жей костями, с редкими и жесткими черными волоса-
ми над углами губ, было строго, нахмурено, значи-
тельно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка вид-
но было только то, что ему темно и трудно. Он был
ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше
ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была не
велика, — так коротки были его ноги, обутые в раз-
битые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил
он, — тоже от старости и от килы, — неловко, сог-
нувшись, так, что отставал фартук и виден был глубо-
ко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоя-
санный. По-детски темны были его черные глазки,
похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый,
насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выда-
валась, а верхняя губа, на которой темнели две тон-
ких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «ба-
рин» говорил он «баин», вместо «было» — «быво» и
часто всхлипывал, подтирая большой холодной ру-
кой, суставами указательного пальца, свой повисший
носик, на конце которого все держалась светлая ка-
пелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-
то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели слышался из сеней топот
обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, вно-
ся с собой свежий хороший запах, вошли господа,
залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и
блестками на волосах и одежде. Темно-красная бо-
рода и густые, нависшие над серьезными и живыми
глазами брови Ремера, глянцебитый каракулевый во-
ротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка

казались от этих блесков еще великолепно, а нежное, милое лицо его жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, — уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, — но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок, — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. — Однако ты, б'ят, вовок. Я небось, постарше тебя немножко, — сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Чтó? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. — Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыбнулись, — даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки — и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерз-

нет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном, — на минуту, в молчании, особенно явно слышен шум ветра, — и серьезно спросил:

— Чтó это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову. — Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал, небось, какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, чтó я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал, — ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был, — Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное, — так же просто сказал и Сверчок: — это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай Бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось, она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня — сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня», — вы вот послу-

шайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Кура сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет, — сказал Сверчок. — Туман.

— Как туман? — спросила барыня. — Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он. — Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, — картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне: — это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад, — ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цыгарку.

Сверчок мельком, старчески-строго глянул на него.

— Оставь мне затынуться, — сказал он и продолжал: — работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке, — он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, — ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали, жили после смерти матери в роде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличаться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на-вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, — ску-

пой барин-то был, огарочка не разживешься, — чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

— Ильей-с, — ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос: — Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, — вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, — шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся, — красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! — взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, — как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, — да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, — в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыхание какое, — чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевички на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да, известно, дело молодое, по себе, небось, сударыня, знаете, — как свою гордость не выказать? — насупился поскорее и опять пошел. Входим в деревню, — конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жилье, — он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только

сначала так стюденó показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки нá-четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жилье, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая чтó ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго Пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, Бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, — продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе: — мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, огромный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибиновским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, — кто не блудил, все блудили, — а я тó хотел сказать, какую мýку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до

того испугался, как, значит, прокружились мы часа два, али три, да зарьяли, задвохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, — всякому, понятно, свой живот дорог, — но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня Господь! Я, понятно, думал, что мне первому конец, — много ль во мне духу, сами изволите видеть, — а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками цыграку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, — до нашего, то есть, брата, до дворового, — так вот он тоже замерз, под городом нашли, — лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколе-ла... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрики-

вал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом в роде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ в роде как совсем нету — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не видеть! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упушу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит: «Это что́, отец? Бибииковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, — тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». — «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет, — сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что́, — помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопришь на меня! Нет, — валится с ног долой да и только! А я бы и помер от этакой страсти, да уж — не могу... не в состоянии... И когда уж кончил-

ся он, смолк совсем, отяжелел, оледянул, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок, вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу: — думалось так... принесу на село... может, отгадет, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро, — нахмуриваясь, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла мятьель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка, — ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи. — Не до того.

Капри. 28—30.XI.1911.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владельцами всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на палаты, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете — и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыпят стеречь, избу ка-

раулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. — «Мамушка, ай тебе курятинки сварить, либо лапшицы молочной? Может хочется чего? Может, самовар поставить?» — А она только дышит в забытии, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех, — отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, — обе жилые связи полны спящими, — и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество — в покойницу.

Она лежит в холодной половине — уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчевым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блещут, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покой-

ной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам — кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, — и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, — как поднял голос по церковному, так и остался на высокой ноте, — читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспощадности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плюшем с белыми крестами

и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преображенном мире!

Он волшебю замкнут в нем и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, злоециий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что как некая литургия совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчевой покров на груди покойницы — она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей — и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно — этот ветер тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

Теперь Гаврило молодежавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им — ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему, умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком — счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери, в ее последнюю ночь среди живых.

Париж, 1921 г.

ХУДАЯ ТРАВА

Худая трава из-поля вон!

Пословица

I

Аверкий слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздник. Молодые работники ели не в меру много и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смирные мужики, много поработавшие, — а он таки-поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходявшим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тон-

ким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая сидящая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он не спешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, Бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Душа не принимала пищи. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а, может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, — в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, — и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал

по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку.

Она равнодушно спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет, — в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь в тесное, жаркое пространство между печью и потолком: — служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, — пошутил он. — Износился, задыхаться стал, — еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, однообразно прерывающееся дыхание, ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он — «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву, и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы — надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину, — подумал Аверкий в дремоте. — Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

— Опять залил глаза! — сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего. — Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? — спросила она, оборачиваясь. — Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед, — караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью, — дед не обратил на стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мысленно ли? — понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками. — Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребятишки уж зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу — ну, и чорт с ними! Я больной человек!

— Больной, а все хоть выжми! — сказала стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь на нары. — Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

— Не хуже меня такого-то, — подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

— А она, небось, мне не чужая, — продолжал тот с искренней горечью. — Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж исделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья позволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю, ай нет? — крикнул он, снова оживляясь. — И тебе, староста, завсегда позволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько — ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» — с обидой и болью в голосе кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый, — в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. — «Да, Бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоска, неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анята, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно, — голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом, — и плакала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили, — говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе. — Легла отдохнуть в палисаднику — дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго, как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст — и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, Господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анята..

— А ты бы его за виски, — сказал он, усмехаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. — Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

— Что тебе? — тупо отозвалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе, — сказал Аверкий. — Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми сменить! — с горечью ответила дурочка — Схожу, не бойся... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А, может, испугаешься дуже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, — говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать на счет тебя..

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе сыпает... Берет и сыпает..

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий

— Та-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи, — сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, — сказал Аверкий.

Вздыхнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, — стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатой равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на селе хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при

ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом поднимающие полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он притворно-небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно-звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь, сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, — армяк, онучи, линючую подпояску, — и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедью, лег в телеге без колес — и в открытые ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косою крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь однако не ехала — верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косою радужный дождь.

— Будут беды великие, — говорила соседка, бывшая дворовая. — Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что, авось, Бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солн-

це проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видели ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца, не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который наговор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он. — Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загредел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю трубуху, подняли гам и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, Бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему — и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холдную. И удивленные, сбитые с толку соседи, в конце концов покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи, он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеда он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним — дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, — зять все старался шутить, — но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокой-

ствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что же сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся солевой пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и блестя, будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в ра-

ме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо, — думал Аверкий, — значит, ему дочь моя не хороша, иную надо.» Гармония смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрасывая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно», — подумал Аверкий. А дочь, небось, любит его... В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндеVELO...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается в чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха:

— Ишь, где квартеру себе нашел!

— А ты чего ж не спишь? — спросил зять.

— Я, почесть, никогда не сплю, — ответил Аверкий.

— Помираешь, значит, — равнодушно сказал зять, ложась.

— Худая трава из-поля вон, — пошутил Аверкий. — А чую — конец. Чую — она. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно. — Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать, что-нибудь дружеское, приятное зятю. Он окликнул его:

— Спишь?

— Нет, — отозвался зять, очнувшись. — А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать...

Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, — как отражение в затуманенном зеркале, — прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голу-

бое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда, — ответил Аверкий. — Мука.

— Да это еще по чулку, — сказал зять. — А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках, — подарок с барского двора, — и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убежал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно-просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, — только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то

трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, — на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не счесть, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Аня. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию, с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм! — говорил он. — Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь Бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в коноях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия; они веяли новое зерно и опять рассеивали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегают к нему, потащат его из риги вон, понял и то, что пожар далеко, и что ничего этого не будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряльнике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его....» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь, Бог! Как можно того миновать!

На мгновение ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, Господи, — не миновать-то! Я вон, жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И Бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил нехстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла Божья Матерь от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! — думал он: — жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже в него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сблизился он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка, вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно

жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк Богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он попрежнему видел только в ворота — видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

— Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, длинноногий, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле — и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зелень. Нагнал его барский староста верхом, в седле, мол-

ча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, — и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал, — сон ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на коленки. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и до рога...

А на утро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала: «точно почуяло ее сердце», — подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на сговор. Белой курой несло над деревней, убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, — ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила

на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В открытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у бабушки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби! — крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. — Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей сговор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем бабушку перевозить, — торопливо сказала ей дочь Аверкия. — Совсем помирает, за помом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу, — близкой смертью, — лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полубубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским удовольствием думал:

придут, чтобы переключивать его, — ан у него уж всё готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, в роде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подруги потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь на пороге низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас? — бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В тихом страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на сговор). Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, тот, для кого всё это и делалось, — сам Бог как будто, — сказал:

— Шапку-то, шапку-тоними!

Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему, — вы это дело хорошо знаете, — есть уж она во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» — крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло — он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний вечер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе судил, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка,

иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать-сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные, — вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

— Ах, это дочь! — подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22. 2. 1913.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Лето, именье в лесном западном краю.

Весь день проливной свежий дождь, его сплошной шум по тесовой крыше. В притихшем доме сумрак, скучно, на потолке спят мухи. В саду покорно никнут под водяной бегущей сетью мокрые деревья, красные цветники у балкона необыкновенно яркие. Над садом, в дымном небе, тревожно торчит аист: почерневший, похудевший, с подогнутым хвостом и обвислой косицей, стал на краю своего гнезда в верхушке столетней березы, в развилине ее голых белых сучьев, и порой, негодую, волнуясь, подпрыгивая, крепко, деревянно стучит клювом: что же это такое, потоп, настоящий потоп!

Но вот, часа в четыре, дождь светлей, реже. Ставят самовар в сенцах — бальзамический запах дыма стелется по всей усадьбе.

А к закату совсем чисто, тишина, успокоенье. Господа и те, что гостят у них, идут в бор на прогулку.

Уже синееет вечер.

В просеках бора, устланных желтой хвоей, дороги влажны и упруги. Бор душист, сыр и гулок: чей-то дальний голос, чей-то протяжный зов или отклик дивно отдается в самых дальних чашах. Просеки кажутся узки, пролеты их стройны, бесконечны, уведят своей вечерней далью. Бор вдоль них величаво-громиден, стоит темно, тесно; мачты его в верхушках голы, гладки, красны; ниже они серы, корявы, мшисты, сливаются друг с другом: там мхи, лишай, сучья в гнили и еще в чем-то, что висит подобно зеленоватым космам сказочных лесных чудищ, образуют дебри, не-

кую дикую русскую древность. А пока выходишь на поляну, радуется юная сосновая поросль: она прелестного бледного тона, зелени нежной, болотной, легка, но крепка и ветвиста; вся еще в брызгах и мелкой водяной пыли, она стоит как бы под серебристой кисеей в блестках...

В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, — всё время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались — знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно и брезгливо.

1930.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕИЧ

Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер!

Всего нелепее то, до чего неожиданно умер он. Ведь еще только вчера, вернее, прошлой ночью, он был с нами, сидел, ужинал и, как всегда, говорил, говорил — то, что он говорил повсюду, за всеми ужинами.

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в столовую.

Он сказал то, что неизменно говорил, приезжая на вечера к знакомым. Вчера откуда именно приехал он? Но, по совести сказать, разве мы знали когда-нибудь, откуда он приезжает? Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? Знала, может быть, немного больше прочих его старинный друг княгиня. А все прочие знали только то, что днем у Алексея Алексеича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по вечерам он не пропускает ни одной театральной премьеры, ни одного порядочного концерта, — музыку он действительно любил и понимал, — а ночью непременно где-нибудь ужинает — у Куба, на Островах, у знакомых, — так что все, бывало, дивятся на него: и когда только успевает он спать?

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в людную и светлую столовую, со своим обычным слегка насмешливым выражением лица.

И, как всегда, едва только он показался и сказал это, все встретили его хором радостных восклицаний:

— А! Наконец-то!

И, с безразличной улыбкой пожимая руки, раскланиваясь, он прошел к своему месту за столом, безразлично поцеловал большую и жилистую руку своей соседки княгини, засунул угол салфетки за открытый жилет, взялся за бутылку и, как всегда, спросил:

— А вам, княгиня, позволите?

Княгиня ответила:

— Пожалуйста. Только немножко.

И он возразил опять-таки так, как всегда возражал в подобных случаях:

— Э, княгиня, что за счеты. Пить умереть и не пить умереть. Уподобимся, государыня моя, стрекощу кузнецу, в зленем злаке сушу. В меру и во благовремении питье вредить не может. Лишь бы не упиваться до отвратности, — сказал он, не думая ни единой секунды о том, что говорит. — Лишь бы не сравняться с пьяницей богомерзким. Ибо что есть пьяница, по учению мужей мудрых? Оный пьяница аки болван, аки мертвец валяется, многожды бо оквернився, мокр и нальвяся, яко мех, до горла, не могый главы своей возвести, смрадом отрыгая от многого локания.

— Не говорите гадостей, я есть не могу, — сказала княгиня.

— Как, это поучения-то святых отцов гадость? — сказал Алексей Алексеич. — А еще в Лавру, княгиня, каждый Божий день ездите!

— Нет таких поучений, это вы всё сами выдумываете.

— Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже слушать страшно. Истинно, жена прелестная. А ведь что такое жена прелестная?

— Какая еще такая жена?

— А вообще жена. Что есть жена, сиречь женщина?

— Ох, Алексей Алексеич, и про жену уже тысячу раз слышала.

— Слышали, а каждый раз забываете. Жена, милая княгиня, есть святым обложница, змиино покоище, цвет дьявола, купница бесовская, сковорода подпечающая. И далее: что есть жена? Сеть утворена прельщающи человеки, светлым лицом и высокими очима намизающи, ногами играющи.

— Боже, какой вздор. И что это значит — намизающи?

— А чорт его знает, я и сам не знаю, милая княгиня. Вот «ногами играющи», это я понимаю.

— Перестаньте говорить глупости.

— А это не я говорю, это бес в человеке говорит. Ибо что есть человек? В человеке, как всем сие ведомо, есть восемь составов...

— И это знаю, и не трудитесь, пожалуйста, перечислять ваши составы.

— Нельзя, милая княгиня, и рад бы не перечислять, да не могу. От земли у человека тело, и тот человек темен; от моря — кровь, и тот человек прохладен; от огня жар, и тот человек скуп...

— И откуда только берется всё это у вас?

— От прилежания, государыня моя, оно же неистощимый, неупиваемый кладезь мудрости. Но позвольте кончить. От солнца у человека очи, и тот человек богатыреват...

— Ничего не понимаю. Что это значит — богатыреват? Дайте-ка мне лучше спичку.

— А вы думаете, я понимаю? — ответил Алексей Алексеич, зажигая спичку и помогая княгине закурить. — От ветра у человека дыхание, и тот человек легкоумен, подобно вашему покорному слуге. От облака мысль, и тот человек похотлив. И наконец:

от света — свет, и тот человек не мыслит земного, а лишь небесная.

— Вы, конечно, от облака?

— Сиречь, похотлив? Грех вам, княгиня, говорить так, будучи единственной причиной оной похоти. Вы же отлично знаете, что по отношению ко всем прочим прелестницам я мыслю лишь небесная.

Княгиня легонько ударила его по руке. Он вынул маленький портсигар, плетеный из китового уса.

— Разрешите, раз уж вы сами курите? И куренье конечно, не благо, дорогая моя, ибо который человек наченет дерзати табаку, то у того человека мозг крутится...

Так и в таком роде, без конца и без умолку, говорил Алексей Алексеич за ужином. А за кофе, которое мы пили с ликерами в четвертом часу ночи, он уже слегка осовел, сидел с вялой усмешкой на устах и опять приставал к княгине с тем, что она уже тысячу раз слышала и что, однако, ей ничуть не доучало, хотя она и делала вид, что сердится.

— Дитя! — говорил он: — али не разумеешь, яко вся сия внешняя блядь ничто же суть, но токмо прелесть и тма и пагуба?

— Ох, боюсь, Алексей Алексеич, что хозяйка прикажет вас вывести, — сказала княгиня.

— А за что же, позвольте спросить, она прикажет меня вывести? — слегка жалостно возразил Алексей Алексеич. — Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это слово у самого протоппа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьезный был мужик этот протопп. Мы, сказано там...

— Довольно, довольно, Алексей Алексеич, — сказала княгиня. — Верю и без дальнейших приме-

ров. И перестаньте пить и едем, смотрите, какие у вас мешки под глазами.

— Слушаюсь и повинуюсь, — ответил Алексей Алексеич. — Но повинуюсь не мгновенно, а лишь через четверть часа. Ровно через четверть часа, государыня моя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, поспешай не торопясь, как советует Кузьма Прутков...

Кончилось тем, что, по обыкновению, вернулся домой и заснул Алексей Алексеич только в семь часов, когда в его кабинете на Конюшенной уже сишел грязный утренний сумрак. А проснулся после полудня, часу во втором, и проснулся, по свидетельству его слуги, как-то внезапно, сразу, раскрыв глаза с испугом. Некоторое время после этого он лежал без всякого движения, глядя в стену перед собою, потом позвонил и приказал подать себе сельтерской воды. А выпив воды, попросил помочь ему одеться, а потом — позвать извозчика и, когда доложили, что извозчик готов, вышел из дому и поехал к Потехину...

Потехин! Потехин-то, конечно, и виноват во всем. Вообще, что такое эти визиты к докторам, сидение у них в приемной, ожидание их расспросов, исследований, решений, рецептов, советов! Какой это вообще ужас быть больным! Вот человек вдруг почувствовал, что дело его что-то не ладно, подозрительно... Он перемогается, тщится уверить себя, что это неладное есть нечто случайное, временное, что не стоит думать о нем, не надо поддаваться ему, а сам меж тем думает все чаще, поддается все больше — и наконец не выдерживает, решает воззвать о помощи к этому волхву, именуемому доктором, и либо с трепетом ждет его у себя на дому или томится у него в приемной... Последнее, по-моему, особенно ужасно!

Да, на дом к вам доктор приезжает всегда с большим опозданием, а если вы едете к нему сами, всег-

да-то он как нарочно занят с другим больным, требующим долгого и серьезного осмотра, или где-то задержался. И вот вы сидите в этой проклятой приемной, в ее напряженной тишине, где всякий почему-то боится вздохнуть, а если говорит, то шопотом, где так дьявольски медленно, важно, спокойно, дремотно отсчитывают время дорогие мраморные часы на камине, так бесстрастно блещут картины на стенах и черная рояль у стены, возле высокой таинственной двери в докторское святилище, и так безжизненно стоит, каменеет мебель в чехлах вокруг круглого стола посреди комнаты. Вы сидите, измученный нетерпением, вы ждете, подавленный вас окружающим, ждущим молчанием. Вы пытаетесь заняться истрепанными книгами, иллюстрированными журналами и проспектами, картинками санаторий, лежащими на круглом столе. Вы заставляете себя читать, осторожно перелистывая эти журналы и проспекты, разглядывая отели в сосновых и снежных горах, виды их салонов, столовых, каких-то стеклянных веранд, уставленных лонгшезами... Но, в сущности, вы ровным счетом ничего не видите и не понимаете, читая, перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в идиотизм, в какое-то подобие летаргии эта тишина, этот сложный и смутный шум обычной, будничной жизни города, которой нет ровно никакого дела до вас, до ваших мук, болезней, смертей, которая течет себе и течет никогда не прерывающимся потоком где-то там, за этими двойными, никогда, верно, не открывающимися окнами...

Бедный Алексей Алексеич тоже должен был пережить не менее часа подобного томления, дожидаясь Потехина, который будто бы был вызван куда-то на консультацию, а на самом деле, вероятно, дрых после завтрака в своих дальних, семейных покоях.

Пожилая и аккуратная, точно какая-нибудь клас-

сная дама, горничная бесшумно отворила ему дверь, помогла раздеться и очень сдержанно сказала:

— Пожалуйста обождать в приемной. Доктор экстренно вызван на консилиум...

И Алексей Алексеич вошел в пустую приемную и покорно сел в кресло возле круглого стола ждать решения своей участи.

Что он чувствовал, что он думал, сидя в этом роковом кресле?

Конечно, то же самое, что и все мы, грешные, чувствуем и думаем в подобных случаях. Сидел, цепенел, тупо глядел перед собою, задавал себе разные глупые вопросы... Вот рояль и на ней груды нот, — все, что полагается: и Моцарт, и Бетховен, и Глинка... Но когда и кто играет на этой рояли? Очень возможно, что никто и никогда. Вот люстра в кисейном коконе, подвески которой тихо звенят от продвигающихся по улице ломовых телег, нагруженных чем-то очень тяжким... Зажигается ли когда-нибудь эта люстра? Бывают ли в этой гостиной обыкновенные, а не больные люди, то есть друзья, знакомые доктора, и вообще живет ли доктор когда-нибудь не докторской, а своей личной, простой жизнью? Вот огромная картина в десятипудовой золотой раме, возвышающаяся над роялью: грозно и великолепно синее дикое ущелье, с шумом клубится, несетя пенно-зеленый горный поток, сумрачно и величаво дымятся облаками скалистые и снежные вершины гор... Чья это картина, как и зачем она попала в доктору, что общего у него с этим ущельем? Ущелье синее и синее, поток, нагоняя дремоту, шумит и шумит — неужели это так и будет изо дня в день, из году в год, пока будет жить и принимать доктор? Доктор отдыхает от своих вечных приемов и забот о чужих болезнях, верно, только в августе... Где же именно? На Кавказе, в Швейцарии, то есть опять-таки где-то

там, где синие ущелья и пенно-зеленые потоки? Но на кой чорт ему они?

И потехинская горничная говорит, что слышала, как Алексей Алексеич будто бы вдруг громко сказал:

— Нам, государь мой, уже давным давно наплевать на все эти красоты с высокого дерева!

Он, конечно стучал пальцами по столу, с мукой глядел на часовую стрелку, приближавшуюся к трем, иногда нарочно кашлял, в надежде, что в кабинете что-нибудь скрипнет в ответ на этот кашель, — в консультацию он ни минуты не верил, но высокая дверь кабинета была все так же неподвижна и заповедна, и, конечно, ему уж начинало казаться, что он и во веки не дожидется той желанной минуты, когда эта дверь внезапно приоткроется и Потехин с нарочитой сухостью и, разумеется, не глядя на пациента, скажет: «Пожалуйста!»

Однако, дверь эта (и как раз в ту минуту, когда у Алексея Алексеича лопнуло уже всякое терпение) вдруг приотворилась, — и судьба Алексея Алексеича была решена...

Потехин! Боже, как смалодушествовал Алексей Алексеич, допустив себя так по-детски уверовать в эту тупицу! Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, сутулый, нарочито грубый; с грубыми, простонародными чертами лица, с крупными свинцовыми волосами, с тяжелым и недружелюбным взглядом маленьких глаз; неизменно медлительный и до наглости самоуверенный, хотя вместе с тем никогда не могущий взглянуть вам в лицо прямо, то и дело краснеющий от угрюмой семинарской застенчивости... А потом эта манера защищать себя от своего простого происхождения частым и резким упоминанием о нем! Это убеждение, что вследствие такого происхождения он будто бы имеет перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие!

Это бахвальство, когда разговор заходит, например, о музыке, о стихах, о живописи, особенно новой!

— Ну, здесь я умываю руки, — грубо говорит он в таких случаях. — Я в этом сущий профан. По-моему, это не картина, а яичница с луком, не стихи, а рубленая проза, которую с одинаковым удобством можно читать и с конца. Но что ж, вам и книги в руки: весьма охотно допускаю, что это гениально, замечательно...

И вот перед таким-то мудрецом и смалодушествовал наш бедный Алексей Алексеич.

Разговор в кабинете Потехина был короткий:

— Здравствуйте, Алексей Алексеич. Садитесь, пожалуйста. На что изволите жаловаться?

— Да как вам сказать, — начал Алексей Алексеич, тщетно пытаясь быть тем самым собою, которым он был всю жизнь и который в этот день вдруг почему-то точно сквозь землю провалился. — Уже давно замечаю, что как будто не совсем в порядке мои, так сказать, сердечные делишки, а вот нынче утром и совсем сдрефил: схватило, понимаете ли, так, что душа в пятки ушла. Пустяки, конечно, но все же пошел за благо явиться перед ваши пресветлые очи...

— Прекрасно. Годочков-то вам сколько?

Алексей Алексеич ответил, все еще стараясь шутить, что во всяком случае больше, чем «тлидцать тли», потом сказал серьезно, и дело пошло обычным порядком. Наклонив свою свинцовогустоволосую голову и не глядя на Алексея Алексеича, начал Потехин сухо расспрашивать, не спеша записывать, потом сказал еще суше и неприязненней:

— Разденьтесь, пожалуйста...

И Алексей Алексеич покорно, даже как-то угодливо, униженно, торопливо и очень неловко стал трясушимися руками стаскивать с себя пиджак, жилет, развязывать галстук, отстегивать запонки... Потом он то сидел, то стоял, то глубоко дышал, то совсем не

дышал, чувствуя, что вот-вот упадет от головокружения, лежал во всяческих позах на скользкой простыне на холодном клеенчатом диванчике... Наконец, Потехин и сам измаялся. Помолчал, глядя в потолок, еще немного помял белый живот Алексея Алексеича своими большими мягкими пальцами уже неизвестно зачем, очевидно, только в силу привычки мять животы, потом встал и, еще больше нахмуясь, сел за стол и в мертвой тишине стал писать рецепт, меж тем как Алексей Алексеич, раздавленный столь неожиданно-зловещим поведением Потехина, с постыдной неряшливостью и поспешностью приводил себя в порядок.

— Ну, что же, доктор, что скажете? — спросил он, наконец, с усмешкой. — Дрянь дело?

И Потехин ответил, не поднимая головы:

— Дрянь, не дрянь, но не скрою — неважно.

— Сердце?

— Оно самое.

— Ну, годик-то еще попрыгаю? — опять сделал попытку пошутить Алексей Алексеич. — Я, откровенно говоря, этой самой любви к жизни, сладкой привычке бытия не весьма привержен, поелику почитаю оное сплошным свиным корытом... Не обуреваем равным образом и гамлетовскими терзаниями на счет того, что ждет нас там, на противоположных берегах реки, Стиксом именуемой. Но все же, знаете, как-то не того... не хочется спешить выправлять подорожную в место злочно и блаженно, иде же несть ни печали, ни воздыхания, а скука зеленая да шесть пород червей, кои будут трапезовать новопреставленным рабом их. Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без лицепрятия, а то я просто на извозчике околею от неизвестности...

И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской беспощадностью:

— Я пророчествами не занимаюсь...

Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой, и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот. Вот тебе и «стрекочущу кузнецу», и Кюба, и Острова, и ужины у друзей-приятелей! И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем. Даже и на похоронах-то будут думать только об одном: как бы покурить поскорей!

1927.

ПОДСНЕЖНИК

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масляница — и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником.

Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни.

Отец приехал из глухой, занесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворьи, в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полущубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами.

А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает Бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?

На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, — к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существ-

ва, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир Божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного!

Живет Саша «на хлебах», в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша переселяется в Елецкое подворье.

Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит его, щутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голу-бятне.

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахара, съедает целый ка-лач и опять шаркает ножкой:

— Мерси, папочка!

Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, — завтракать. И, одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым настезь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнувший праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!

В трактире «чистая» половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и до-нельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, — селянку на сковородке, леща в сметане, жареной наваги, — требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...

Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем, как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза!

А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная площадь — и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.

Да, проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масляничные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается.

А там, во дворе, уже запрягают лошадей... Последний, самый горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный:

— Подано, Николай Николаич!

И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен, валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет:

— Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.

И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам...

А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто — Боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой. И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с возжами и длинным кнутом в руках... Еще минута — и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля — и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!

— До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.

1927.

В О Д Ы М Н О Г И Е

Господь над водами многими...

Псалтирь

12 февраля 1911 г., ночью, в Порт-Саиде.

Первая ночь на «Юнане». Капитан сказал, что пойдём не спеша, на Цейлоне будем не раньше, чем через полмесяца, и я чувствую себя в этой большой и покойной каюте уже как дома, хозяином.

Вышло как раз то, о чем мы мечтали зимой в Египте: попасть на один из тех пароходов, которые, будучи пассажирскими, ходят теперь в качестве грузовых по своей отсталости от современных удобств, по слишком ограниченному числу кают, по долгим стоянкам в портах. «Юнан» довольно велик, прост и стар, но чист, крепок, сидит глубоко, его кают-компания и двенадцать пассажирских помещений расположены не на корме, а на спардэке. Все каюты, кроме двух наших, пусты, — «вы будете как на собственной яхте», пошутил капитан, принимая нас в виде исключения на «Юнан». Он прибавил: «Только вам придется жить с экипажем совсем по-семейному, довольствоваться тем, что готовят нам, время проводить почти в одиночестве, — ведь мы круглые сутки заняты». Но это-то нам и нравится, сказали мы ему.

Капитан, крепкий, полнеющий француз, по-французски самодоволен и уверен в себе, по-французски предупредителен и вежлив с нами, но и равнодушен по-французски, говорит любезности и остроты, не

меня выражения лица. Два его помощника и младший механик мало заметные фигуры. Механик старший, — большой, грузный, усатый брюнет с несколько как бы яростными и изумленными глазами, — я думаю, не далек, горяч и отходчив. Остальные обитатели «Юнана» — повар, два поваренка, подросток китаец для мелких услуг, красавец лакей, несколько кочегаров и десятков матросов.

Мы перебрались на «Юнан» к обеду. И обед имел совсем домашний характер. По-домашнему приготовлялось и кофе, — не в поварской, а в столовой, собственноручно: молот старший механик, засыпал и варил первый помощник. Это было венцом обеда, некоторым священнодействием. После обеда все разошлись, кто на вахту, кто спать перед вахтой.

На пароходе уже давно тишина. Тихо и на рейде. Вот вторая склянка, — успокаивающий и слегка грустный звон, — бам-бам, бам-бам, — десять часов. Я выбрал себе одну из трех кают возле кают-компания, — каюты на верхней палубе меньше и будут в тропиках жарче. У меня просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем!

Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство, — иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. «Путь твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь Тому, Кто незримо хранит меня на всех путях моих своей

милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!

13 февраля, Суэцкий канал.

Не слышал, как снялись, — пошли раньше, чем предполагали, задолго до рассвета, когда крепко спал. Потом стал будить скрежет над головой, — это взад и вперед ползала по верхней полубе рулевая цепь: канал извилист, то и дело надо лавировать. Но этот же скрежет и усыплял, усыпляло его однообразие и ощущение, что ты уже в дороге.

День облачный, мутный, ветер сильный и мягкий. К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синай, и весь день прошел под его величавым и священным знаком, был связан с чувством его близости, его ветхозаветного, но вместе с тем и вечного владычества, ибо это вечно, вечно: «Аз есмь Господь Бог твой... Помни дни Господни... Чти отца и мать твою... Не делай зла ближнему твоему... Не желай достоинства его...»

Я ходил по верхней палубе, сидел, читал, думал о многом и разном, но за всем был Синай. Я смотрел в туманную пустыню справа, в сторону Египта, смотрел на пески впереди, но все время чувствовал тот жуткий в своей древности и вечности Образ, что сопутствовал нам слева, с аравийской стороны, своей как бы повисшей в неясном небе, над розовым туманом, громадой. И это и страшило, как страшит все

великое, и восторгало. Разве эта гора как все горы на земле? Несчетные мириады тех, что рождались на земле в течение этих тысячелетий, узнавали о нем с младенчества, на первом пороге жизни, и до гроба жили (покорно или строптиво, грешно или свято, а все-таки жили) под властью того, что заповедано на нем, на Синае. Вот истинно незыблемый маяк человечества, столп и основание его бытия, престол законов, их же без кары не преступишь!

Мысль об этой незыблемости и о той связи, которую рождает между людьми почитание синайских скрижалей, вмененное в одинаковую священнейшую обязанность миллионам людей, отзывается в сердце великим утешением. Да, уже целые тысячелетия, из века в век, из часа в час, из сердца в сердце передается всех и вся равняющий и единящий завет: чтить скрижали Синая. Сколько раз человечество восставало на них, дерзко требовало пересмотра, отмены их велений, воздвигало кровавые схватки из-за торжества новых заповедей, в кощунственном буйстве плясало вокруг золотых и железных тельцов! И сколько раз, со стыдом и отчаянием, убеждалось в полном бессилии своих попыток заменить своей новой правдой ту старую, как мир, и до дикости простую правду, которая некогда, в громах и молниях, возвещена была вот в этой дикой и вечной пустыне со скалистых синайских высот!

Я сидел, смотрел... Сильно дул в лицо летний ветер, тепло солнца, все скрывавшегося за легкими, сливающимися клубами облаков, грело меня, грело белую сухую палубу. Ветер нес незримую, тончайшую песчаную пыль, с места на место пересыпая песчаные бугры и заноса канал все с тем же бесцельным прилежанием и упорством, с которым заносил он и каналы фараонов, давно погибшие, неведомые нам. Канал извивался, вода его зеленела то бледнее, то ярче в зависимости от солнца, порой заходившего в

облака, порой озарявшего светом, радостью. Медленно проходили мимо засыпанные песком кустарники, насаженные по песчаным буграм вдоль канала. Мир был безгранично пуст — ни единого живого существа вокруг, ни единого жилья, кроме редких сторожевых мазанок, таких одиноких в этом серо-желтом море и со всех сторон теснимых желтыми сугробами. Но, казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне. «Не пожелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его...» И меня охватывало умиление. Какая пастушеская наивность выражений! Но как это трогает и радует, — то, что человечество и до ныне сохранило в полной неприкосновенности эти древние, наивные формы заповедей! Мы и не подозреваем всей силы таинственного влияния этой архаичности, ее неизменности и независимости от преходящих земных условий. Она разрушает преграды времени, места, национальности, она говорит всем языкам людским только одним, только своим, только аравийским языком, и из тысячелетий в тысячелетия мириады самых разноплеменных человеческих душ, начинающих свое земное существование, младенческими голосами внушающих себе и другим для всех равно обязательные синайские законы, хранят только этот язык: ни раба его, ни осла его.

Я сидел и думал: все-таки оно есть в мире, — нечто незыблемо-священное. В гигантском человеческом таборе, который стремится, невзирая на все свои блуждания, все-таки вперед, в какую-то обетованную землю, в пестром и шумном стане, который ютится в низкой земной юдоли, а все-таки у подножия неких горних высот, кипит мелкая, будничная жизнь, царит человеческое ничтожество, человеческая слабость, убогая гордыня, злоба, зависть, и Божьи избранники, пророки, мудрецы не раз содрогались в этом таборе от ужаса перед его мерзостью,

в отчаянии дробили о камень скрижали синайского завета между человеком и Богом — и все-таки снова и снова собирали раздробленное, снова воздвигали все те же самые уставы, ибо снова и снова гремели из мглы и туч омраченных высот все те же страшные, но и утешающие, указующие спасительный путь глаголы:

— Вы видели, что Я сделал с Египтянами (за зло их) и как носил Я вас на орлиных крылах (на крылах вечной мощи Моей)... Вот Я прихожу к вам в густом облаке и молниях (ибо омрачен престол правды Моей и разгневано сердце Мое): пусть слышит народ, как Я буду говорить, и пусть поверит навсегда...

Там, в вечной Книге Книг, так и сказано: навсегда. Младенчески бедны уставы, навсегда долженствующие быть нашей верой и нашим правилом, но в этом-то и сила их. Пастушеской простотой звучат они, но в простоте-то и вечность их, подобная вечности вот этого неба (простого синеющего воздуха), вот этой земли (простых песков и камня).

«Чти отца и мать твою» — что, казалось бы, может быть проще и беднее этих слов? А меж тем скорее солнце сойдет с своего пути, чем потеряют они свою повелительную силу и свою святость, ибо во веки веков будет свято чувство рожденного к родившим его, к тем, которые всей силой своей любви сохранили его в пору его слабости и незащитности. Да и так ли уж проста она, эта нежнейшая из заповедей? Она говорит: «чти отца и мать твою» — и прибавляет: «дабы продлились дни твои». К чему оно здесь, это добавление о долготе дней? И о чем идет в нем речь? О награде от Бога за почитательность? Нет, смысл заповеди гораздо глубже. Она говорит: чувство связи, — а не может быть связи без почитания, — чувство единства с родившими тебя, с жизнью отцов твоих, расширяет твою собствен-

ную, личную, краткую жизнь; возвышая их, воздавая сыновнюю дань своим отцам, утружденным жизненным бременем, таинством Бытия и любовью к тебе, ты возвышаешь самого себя, то есть существо во всем подобное им: ты их порождение, их плод; чти же древо, давшее плод, если притязает быть и сам достойным почитания, ибо не может быть плода доброго с недоброго древа; единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши, — стремись же ощущать это единство и благоговей: в нем твое бессмертие (долгота дней) и самоутверждение.

А заповедь о достоянии? «Не пожелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его, ни всякого достояния его...» Какая опять как будто нехитрая и, главное, спорная, истина! Не пожелай! А я вот желаю и желаю с очень достаточными основаниями: «собственность есть кража, и уж во всяком случае ничего священного я в ней не вижу!» Но и тут только видимость простоты и легкой оспоримости. Нет, надо весьма немного подумать, чтобы понять всю вечность и глубину и этого синайского наказа. Нет, сколько бы ни изрекала дерзостей человеческая глупость, человеческая зависть, оно поистине священо, это достояние ближнего моего, приобретаемое не всегда же случаем, а обычно ценою не только всей его жизни, но и жизни целого рода его. И посему трижды священна пальма, посаженная его отцом и потому никак не могущая быть общей; священ колодец, вырытый его дедом, то есть хранящий некую частицу деда, его труда, его мысли, его души и, значит, как бы даже некое его бессмертие, продолжение, продление его земной жизни; священ старый дом, где мой ближний жил и хочет жить по-своему, во всей сокровенности своей личности, своих особенностей, своего гнезда, и где он то и дело ощущает, вспоминает (то есть **воскрешает**) себя то ребенком, то

отроком, то юношей, то мужем, со всеми своими былыми горестями и радостями, и, кроме того, чувствует себя наследником, продолжателем всех тех традиций, всей той культуры, которая уже создана на месте его дома... Какая кровь может смыть вторжение постороннего в это «достояние», в это святая святых человека!

14 февраля. Красное море.

Вчера, как только стемнело, на баке «Юнана» подняли большой электрический фонарь, целое солнце, и далеко ударил в темноту впереди белый слепящий свет. Влачась по изгибам канала, точно кит, заплывший в реку, «Юнан» зорко озирает все то, что было на его пути, — мутную воду, пласты бурого ила на побережьях, пересыпанные песком кустарники, лодки возле сторожевых пунктов, женские фигуры босоногих феллахов, на корточках сидевших в своих длинных рубахах на кормах лодок... Этот ил, эти аравийские пески, эти первобытные люди опять напоминали о жизни глухой, ветхозаветной, но впереди то и дело пронизывали темный горизонт прожекторы встречных пароходов. И раз «Юнан» даже совсем притих, неуклюже привалился к берегу, чтобы пропустить чуть не целый пловучий город: встречный великан надвигался на нас, резко и фиолетово, подобно горящему магнию, сияя широкими и нестерпимо блестящими лучами своего солнца, потом совершенно затопил нас как бы дневным светом — и с шумом прошел мимо всеми своими этажами, высокими мачтами и черными трубами, золотом освещенных иллюминаторов и раскрытых дверей, за которыми играла послеобеденная музыка в переполненных народом залах... Странное для синайских песков зрелище!

Когда нас снова окружила темнота, я посмотрел на небо. Ветер стих, небо было чисто. Небо от большого количества звезд первой величины было мрачно и торжественно.

В двенадцатом часу чуть видные в темноте берега стали расходиться, воздух изменился, стал более влажный, морской; чувствовалось, что кругом только одна вода, впереди были рассыпаны далекие огни на Суэцком рейде...

Проснулся уже в Красном море. Ночью опять поднялся ветер и развел такое волнение, что, выйдя нынче в кают-компанию к кофе, я увидел в ней странный полусвет, — все иллюминаторы, выходящие на бак, были закрыты наглухо: так швыряло волной навстречу.

На палубе слепило. В снастях выло, свистало. В воздухе веяла водяная свежесть, которая, однако, мешалась со зноем высокого, высокого солнца. Все море ходило долинами, холмами, верхушки этих холмов ярились пеной. Ветер рвал ее, и белые хлопья, залетававшие иногда на палубу и быстро скипавшие с гладких досок, резко горели серебром. «Юнан» медленно кланялся солнечному морю, шедшему на него ухабистой и сияющей равниной. Какие-то странные серые птички с совершенно круглыми крылышками в черной каемке перелетали по снастям, по поручням бортов. Откуда их занесло? Сколько разнообразнейших жизней в мире, о которых мы и не знаем, никогда не думаем!

Я долго не без некоторой хищной хитрости ходил за этими птичками по заваливающемуся то на один, то на другой бок пароходу. Они подпускают очень близко, эти птички, а все-таки чувствуют правду — в конце концов пугаются и улетают. Сидит и неподвижно смотрит на тебя черным глазком: кто ты такой, что хочешь со мной сделать? И едва сделаешь лишний шаг — птичка порх и уже где-нибудь высо-

ко, на рее. Нет, никакая жизнь не верит другой! И не без основания...

Сейчас звонят к завтраку. Блеск и зной, море успокаивается, ветер слабеет.

15 февраля.

За вчерашний день все чрезвычайно изменилось, — менялось чуть не каждый час. И вот оно уже наступило, то вечное светоносное лето совершенно нового для меня мира, которое говорит о какой-то давно забытой нами, райской, блаженной жизни. К вечеру всем нам пришлось надеть все белое, и в этом было что-то праздничное. Ветер совсем упал, море совсем улеглось и вообще все, по словам моряков, пришло в полный порядок, в тот покой, в то радостное и сияющее однообразие, из которого мы теперь не выйдем до самого возвращения в Средиземное море.

А поздно вечером капитан поздравил нас со вступлением в тропики. И так, заветная черта, о которой столько мечтал я, перейдена. Ночью долго стояли на корме. След от винта горит, в его бушующей пене плавают тысячи синих звезд, то и дело возникают и распускаются в лазурный дым целые блюда пламени.

Спать было уже душно. Мерно жужжит в теплой темноте каюты электрический вентилятор, но его веяние только ласкает.

Нынче утро еще жарче. Проснулся в шесть от шума воды — матросы, как всегда в этот час, «скачивали» палубу, затопляли ее из шлангов, терли швабрами, и этот шум, свежий, водяной, был очень сладок в том зное и блеске, присутствие которого в мире я почувствовал еще в постели.

Затем натянули белые тенты над нижней палубой — докончили картину. Вот теперь уже все тропическое: и эта легкая жаркая тень под тентами, и резкое серебро белых одежд, белой обуви и белых шлемов на моряках, и их страшные черные очки.

Начали и мы тропическую жизнь, — блаженное безделье, лежанье в длинных камышевых креслах на палубе, в прозрачной, полной света, тени. Смотрим на светлую пустоту сияющего неба, видную между бортом и тентом, дивимся на воду, что сквозит в решетке поручней. Это драгоценный прозрачный камень, сплав зеленых самоцветов, в прозрачности которого дымится зеленая муть. Сплав идет, качается, по временам растет острыми хребтами и закипает с сильным и чарующим шумом. Повар, — он родом откуда-то из Пиренеев, — работает на кухне и поет чудесным, порою очень высоким голосом. И песня с сладкой грустью говорит о счастье жить, любить, мечтать в этом светоносном Божьем мире...

После обеда сидели наверху, в большой каюте капитана. Он водил нас в штурманскую рубку, показывал небесный глобус, те новые южные звезды, которые уже открываются нам.

Ночью.

Второй час. Не могу заснуть, — таким счастливым чувствую себя.

Лежа в темноте, вспоминал штурманскую рубку, думал о рулевом. Вот он и сейчас прямо и ровно стоит там, наверху, белеет своей матроской в сумраке, держит за рога рулевое колесо, глядит на большой медный диск, лежащий перед колесом и таинственно освещенный низко спущенной лампочкой под черным колпаком, а на диске зыбко дрожит и, дрожа, медленно ходит, как живая, магнитная стрелка...

Истинно высоким саном облечен теперь этот человек, ведущий нашу морскую стезю, сопряженный с теми непостижимыми, Божьими силами, которые колеблют, правят эту стрелку!

Восторженно волнуясь, лежал в темноте и думал, а ветер веял и веял в каюту, в открытое окно, в растворенную дверь, глухо билось где-то внизу как бы некое огромное сердце и мерно возникал, падал и снова рос шум волн, неустанно летевших вдоль бортов.

16 февраля.

В два часа прошли остров Джебель-Таир. Совсем не похож на Средиземные острова. Те всегда очертаниями волнисты, мягки и всегда в голубоватой или нежно-сиреневой дымке воздуха. Этот же совершенно четкий, голый и со всех сторон точно топором обрублен. И цвет его совсем новый для глаза, — верблюжий.

Перед вечером слева шли мелкие острова, довольно далеко друг от друга разбросанные. Ближние в упор, но мягко были освещены солнцем, их известковые откосы сияли желто-розовой белизной, а дальний, самый большой, цвет имел опять верблюжий. Это Двенадцать Апостолов. И все время нас плавно, медленно качало.

В шесть часов, тотчас же после заката солнца, увидал над самой своей головой, над мачтами, в страшно большом и еще совсем светлом небе, серебристую россыпь Ориона. Орион днем! Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле? Как это-

му поверить, как с этим примириться? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, втайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преследует нас всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг?

А за обедом — человеческая суета сует. «В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род...» Разговор начался с России. И, конечно, вскоре перешел на «царизм», — ведь это для европейцев образ всей России, нечто особенно загадочное и даже ужасное, — коснулся японской войны и перелома, вызванного ее последствиями, затем тех событий, которыми этот перелом сопровождался и наконец общих вопросов: о парламентаризме и абсолютизме, о консерваторах, о социальных неравенствах, о собственности. Тут, как и следовало ожидать, вспыхнули страсти.

Капитан оказался крутым собственником, первый помощник его тихим, но стойким сообщником, в то время, как второй, маленький, черноглазый, похожий на южного итальянца, злым, огненным социалистом, а старший механик вообще революционером, яростным метателем театральнонапыщенных общих фраз. Он, огромный, черный, усатый, свирепо скрежетал ручкой кофейной мельницы и, пожирая глазами капитана, мощно декламировал.

Второй помощник не отставал от механика, говорил вместе с ним в одно и то же время, не громко, однообразно и тоже остановив на нем свои злые, как у змеи, сплошь черные глаза. А капитан смотрел на того и на другого надменно-презрительно, отлично зная и чувствуя, что, невзирая на всю свою видимую независимость, на всю свободу, с которой будто бы могут французские граждане иметь какие угодно мнения и суждения, эти социалисты побаиваются

его. И он был прав, потому что, как только он раскрывал рот, речи обрывались, и он, не спеша, бросал короткие наставительные фразы.

Медленно допив последнюю, самую сладкую капелю кофе, капитан аккуратно надел картуз, поднялся с видом сытого, сильного и во всем собой довольного человека, с небрежной вежливостью проворботал обычное приветствие и пошел из столовой. И старший механик проводил его глазами разъяренного кота и театрально прошипел:

— О, старый реакционер!

17 февраля.

Утром прошли Перим.

Сейчас, после завтрака, идем очень близко возле африканского берега, низменного, пустынного, серого, как слон. Виден Обок. Дальше, в бесконечной дали, даже туманной от обилия солнечного света, поднимаются в небо смутные, знойные призраки Абиссинских гор. Лежу в камышовом кресле на палубе, в жаркой, светлой и душной тени под тентом. Бежит, вспыхивает блеск воды за бортом, но он тусклый. Гляжу изпод тента: и солнце печет тускло, и эти далекие, таинственные горы, словно тусклые, чуть видные тучи... И какая-то великая тоска во всем. Откуда она? От смутной мысли о тех, которых забросила судьба в этот бесконечно одинокий, маленький форт, на эту пядь дикой земли, затерянную среди от века необитаемых пустынь, светоносных и знойных берегов таинственной Африки?

В четыре стали на рейде против Джибутти, довольно далеко от него. Громадный залив, вода зеле-

ная. Вдалеке налево, за линией рифов, эта зелень резко обрезана синью, — там уже Индийский Океан. Впереди, на низком побережье, белеет городок, мавританский дворец французского губернатора. Я стоял на верхней палубе, смотрел на него и вдруг увидел: к пароходу быстро несло несколько узких и темных, глубоко сидевших в зеленой воде пирог, из которых торчали худые и голые черные торсы и седые волосы. А через несколько минут после этого на баке «Юна-на» уже стояла кучка еще никогда мной невиданных людей, тех самых «диких», о которых читал в детстве: кучка высоких черно-шоколадных тел, одинаково узких в плечах и в бедрах, шелковисто-сухих даже на вид. Это были сомалии, о которых говорят, что они еще и теперь не прочь от людоедства. Зубы у них сверкали, на головах высоко курчавилась желтоватая шерсть, — у них обычай обесцвечивать волосы, — шеи поражали длиной, в тонких профилях было что-то козлиное. Некоторые были с луками в рост человека. А я смотрел на их наготу и испытывал какое-то странное, даже как будто стыдное, райское (да, истинно райское) чувство.

До заката сомалии работали, — из Джибутти пришла баржа с углем, и они перекидывали уголь из баржи в нутро нашего парохода. К закату баржа опустела. Сомалиям выдали по булке и по бумажному фунтику фиников. И, отдыхая, они сидели в барже и ужинали, а один стоял на корме барки и по-мусульмански молился. Никогда, кажется, не видал я такой молитвы, — такой горячей благодарности Богу за жизнь, за день труда, за эту булку и горсточку фиников!

18 февраля.

Ездили в Джибутти. Гребцы голые, голы и те, что встречаются в пирогах, то есть, по нашему, дубках. Глубоко, почти с краями, сидит этот дубок в теплой воде, а из него по пояс торчит голое тело, работающее одним веслом. И опять сильное, живое чувство первобытного, теплого, райского.

Город маленький, новый, но какой-то забытый Богом, захолустный. Магазины как у нас в уездных городах. Ходили на окраину; там лачуги, мухи на мусоре и нечистотах, жара, базар. Дальше — пески, полная пустыня, табор сомалиев, живущих уже совсем по-своему, с первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дети и, конечно, опять нечистоты... Мерзко? Нет, страшно по первобытности, по древности, а раз так, чувства пробуждаются совсем иные, высокого, почти жуткого порядка. Тысячелетиями идет эта полуживотная жизнь. Но над нею — нам неведомые Божьи цели. В этом грязном человеческом гнезде, среди этой первозданной пустыни, тысячелетиями длятся рождения и смерти, страсти, радости, страдания... Зачем? Без некоего смысла быть и длиться это не может.

Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царит над этим глухим и скудным человеческим жильем.

19 февраля.

Уже в Океане. Совсем особое чувство — безграничной свободы.

Прохладнее от муссона, весь день боковая качка. Поздно вечером опять были в штурманской рубке, смотрели карту нашего пути: путь наш прямо на восток. Потом был на верхней палубе. Четверть месяца стоит очень высоко и светит очень ярко, — с

правой стороны настоящая лунная ночь. Россыпь Ориона в зените. Южный Крест на юге, в большом пространстве почти пустого неба. Смотрел на него и вдруг вспомнил, что у Данте сказано: «Южный Крест освещает преддверие Рая». Слева низко лежала серебром раскинутая по темносинему небосклону Большая Медведица, под нею, почти на горизонте, печально белела Полярная Звезда. А на востоке точно ветром раздувало какую-то огромную и великолепную звезду, ровно и сильно пылавшую красным огнем. И ход наш был прямо на нее.

20 февраля.

Легкий, веселый день, ветер.

В полдень встреча: далеко вдали, в крупной и блестящей волне, плавно и мягко ныряющая барка. Капитан сказал, что это арабы из Персидского залива: путешествуют по-древнему, совершают в таких утлых ладьях огромные переходы, в дорогу с собой беря только рис и пресную воду. И мысль об этих арабах восхитила: люди иных, далеких и блаженных в своей бедной простоте времен, к нашему великому счастью еще существующие на земле!

Долго ходил по палубе с необыкновенной легкостью, наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Потом решительно пошел в каюту, развязал набитый книгами чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и не стоящее чтения. А отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя падает на волну, качается, мокнет и уносится назад, в океан — навеки. Думала ли она, в свое время мирно лежавшая в орловской деревне, побывать в Каире, у порогов Нила, в Красном море, а потом кончить свои дни в

Индийском Океане! Поразительна полная неизвестность и случайность всякой земной судьбы. Разве я, например, могу быть уверен, что увижу Цейлон, возвращусь в Россию? Может быть, завтра, после завтра сбросят мое тело вот в эти же самые волны... И вообще с немалым основанием преследуют меня всю жизнь подобные мысли. Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование — каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении по таинственности и тонкости? И на таком же волоске висит и мое счастье, спокойствие, то есть жизнь, здоровье всех тех, кого я люблю, кем я дорожу даже гораздо больше, чем самим собою... За что и зачем все это?

Выбросив несколько книг и успокоившись, будто сделал что-то очень нужное, после чего все должно пойти гораздо лучше, глядел с палубы в пустой простор этих «вод многих», со всех сторон безответно объемяющих нас, все с тем же вопросом в душе: за что и зачем? — и в этой же самой Божьей безответности, — непостижимой, но никак не могущей быть без смысла, — обретая какую-то святую беззаботность. Прошел капитан и, так как на коленях у меня лежало «На воде» Мопассана, я спросил его, знает ли он эту книгу и нравится ли она ему.

— О, да, — ответил он, — это очень мило.

Вероятно, в другое время такой ответ показался бы мне возмутительно глупым. Но тут я подумал, что, пожалуй, он совершенно прав в своей снисходительной небрежности. Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к крохотному литературному миру, его значение для той обыденной жизни, которой жи-

вет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды!

«За что, зачем?» Вот для тех арабов, которых мы встретили давеча, не существует этого вопроса. Они знают одно — древнюю «покорность Вожатому», Тому, Кто говорит о себе в Коране: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила».

Ночью.

Зажег настольную лампу, — как успокоительно освещает она сквозь свой зеленый колпак каюту! — сел за стол и чувствую: медленно уходит, ползет стол из-под руки, оседает, погружается пол в бездонную силу, волнующуюся подо мною, косо клонятся стены, размахивается дверная занавеска...

В девять часов был на носу. Очень сильный и необыкновенно приятный ветер навстречу, такой сильный, что рябит в глазах, когда смотришь вперед. Море впереди совсем черно, небо очень чисто и совсем пусто, и опять низко стоит на нем и кровью переливается большая жуткая звезда. Далеко сзади, за кормой — бесконечно разлит по зыби розоватый блеск луны, золотой ломоть которой почти лежит на воде.

В десять с половиной опять ходил туда же, и опять глядел назад. Ломоть луны меркнет, умирает, картина приобретает трагический характер. Мимо бортов горами несутся маслянисто-черные волны, взбиваются гребнями светящейся зеленой пены. А там, далеко вдаль за кормой, красно-золотой и уже густой и тусклый блеск, разлитый по морю, весь изрыт черными ухабами и весь движется, как бы кишит какими-то живыми существами, ночными морскими чудовищами...

Сейчас качает так, что писать уже трудно. Лягу, и будет всю ночь баюкать меня, как в колыбели. «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила».

22 февраля.

И вчера и нынче ослепительно солнечно, но такой ветер, такой свист в снастях и такая крупная зыбь, что ни стоять, ни ходить... Завтракали, обедали не без труда, хотя особенно весело. Наш кривоногий бой проявил чудеса китайской ловкости, вприсядку носясь из кухни в столовую и обратно с кушаньями и с посудой.

Нынче уже тише. К ночи, говорят, все придет в полный порядок.

23 февраля.

Да, опять все как следует.

Опять радостное и жаркое солнце, тишина, корабельная чистота, все двери, окна раскрыты, и все пусто, — все на работе, по своим местам, — и мы совсем одни, точно и впрямь на своей собственной яхте. И все утро поют матросы. Какая грусть! И какое сладкое счастье — это солнечное утро, это наше одиночество, этот от века и до скончания времен светоносный океан и эта песня, то есть жизнь, душа какой-то далекой, нам неведомой страны, — Бретани, Вандеи, Прованса? — со всей своей французской стариной, историей, со всеми преданиями и особенностями быта, нравов, то есть со всем тем своим особенным, в чем священная поэзия каждого народа...

Все утро идем мимо Гвардафуя: далекий берег коричневого цвета, полосы желтеющих у моря песков. Страшное место, славное в летописях корабле-

крушений. Но такой прекрасный день, что этому как-то не верится.

Впереди били какие-то фонтаны. Капитан сказал, что это кит. Потом прибавил:

— А кораблекрушения возле Гвардафуя и теперь не редкость. Тогда сбегаются туземцы, грабят гибнущее судно, добивают тонущих и едят их.

Бог меня прости, — во мне шевельнулось что-то похожее на радость. Ведь это опять то далекое, старинное, из тех путешествий, которые с таким восхищением читал в детстве.

24 февраля.

Все та же прелесть однообразия.

Все последние дни солнце садилось совершенно чисто. Небо перед закатом было неизменно золотое, сияющее; потом оно краснело, вместе с краснеющим солнечным шаром, который, коснувшись горизонта, слегка вытягивался, становился огненно-багряной митрой.

Нынче весь день заходили облака, солнце припекло, как перед грозой, — близится земля, Индия. В пять часов красота этих легчайших, истинно эдемских облаков, раскинувшихся в небосклоне над предзакатным солнцем, была ни с чем несравнима.

Сейчас уже ночь, девять часов. Был на корме. Там пахнет сеном, стоят в загородке быки. Завтра утром одного из них убьют. Последняя его ночь! Это невозможно, этому не верится, но это так. Впрочем, так ли? Может быть, последняя только на земле? Даже в смерть быка отказывается верить сердце...

А ночь прелестная, с мирной луной и белыми облаками, с редкими и тем более прелестными звездами среди них. Совсем бы одна из наших орловских ночей, если бы не дивная игра Конопуса, этого двой-

ника Сириуса, только ярче отливающего красным блеском. Южный Крест не высоко, склонен вправо. И все заходят облака на востоке, величавыми и грозными горами. Так заходили они весь день, и опять весь день росла качка вместе с ровно растущим муссоном. Теперь валит уже совсем хорошо, хотя все с той же медлительной плавностью и не мешая мирной прелести ночи (той, что над нами, а не на восточном горизонте, где те белые грозные тучи).

С кормы я долго смотрел вправо, на юг. Там, в светлом и совсем пустом небе, под Южным Крестом, все мерцает одинокая низкая звезда. Какая? Надо завтра спросить моряков. Может быть, Альфа Центавра? — Как пленительно, загадочно звучали для меня всю жизнь подобные слова! И вот Бог дал мне великое счастье видеть все это...

Последняя ночь быка все-таки не выходит из головы. Он должен умереть, чтобы я мог жить, продолжать видеть прекрасные ночи — и думать о его судьбе, дивиться ей... Всю жизнь суждено мне дивиться чуть не каждую минуту, ничего не понимать и смирять себя: значит, так надо.

25 февраля.

Вчера, потушив огонь, долго лежал, мысленно видя те облачные горы на восточном горизонте. В открытое окно, за тенью от навеса палубы, белела лунная ночь, в открытую дверь доходило сладкое веяние ветра. Думал о тех грозах, которые, по рассказам моряков, начинаются здесь с апреля и бывают так страшны. В полусне стало представляться, что облака эти становятся все величавее, темнее, ужаснее и уже блещут зарницами... Потом очнулся и, не зажигая огня, записал:

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной...
Озаряясь жаркою зарницей.
Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадиллом.

Нынче все так же медленно и плавно поднимает, слегка валит на одну сторону, потом на другую, еще медленнее опускает и опять начинает все сначала. И спокойно стоят весь день далекие облака на северо-востоке, над этой таинственной Индией. В пустой столовой жужжит и дует из угла электрический вентилятор. Все читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. — Жить бы так без конца!

Я даже к консервированному молоку, которое подают к утреннему кофе, привык; освеженный после жаркой постели душем, надевши все белоснежное, чувствую себя двадцатилетним, сажусь за стол с юношеской жадностью. А в одиннадцать другое острое удовольствие — запахи из кухни, завтрак. Подают вздор — омлет, что-то вроде зеленого луку, какое-то подобие рагу, часто улиток... Но блещут стаканы, рюмки, скатерть, радуется здоровый загар и пикейная одежда моряков, красавец лакей, тоже весь в белом, и сонная улыбка очень подвижного, когда надо, но вечно безмолвного кривоногого нашего китайчонка; радуется порядок корабельной жизни. А там чай среди дня, а там и обед, завершение правильного трудового дня... За обедом моряки часто что-нибудь рассказывают.

Как это ни странно, капитан рассказывает отлично, лучше всех. И вообще, несмотря на свои многие неприятные черты, — какое, например, презрение ко всему, что не французское! — он мне очень нра-

вится: очень цельный человек. Нравится и то, что сидит он во главе стола, как высший между нами, с сознанием, что он высший, имеющий над нами неограниченную власть. Да, конечно, неограниченную, — разве может быть иначе в море, на корабле? В море, в пустыне, непрерывно чуя над собой высшие Силы и Власти и всю ту строгую иерархию, которая царит в мире, особенно ощущаешь, какое высокое чувство заключается в подчинении, в возведении в некий сан себе подобного (то есть самого же себя).

Нынче весь день летели летучие рыбки. Мы идем, а они, как молодые воробьи, поднимаются целыми стаями, несутся плоско, прямо и опять сыплются в воду, разбрасывая брызги вокруг себя, и опять взрываются целым ливнем и опять летят...

Ночь похожа на вчерашнюю.

Та звезда, что по ночам переливается кровью на горизонте перед нами, мигает, цветет и как будто манит, привлекает все дальше в глубь своей таинственной тропической страны, есть Спика.

Быка уже нет на свете. Все тот же плеск, шум воды за кормой, все тот же мирный запах сена и все та же сладость ночного ветра, а его уже нет. Непостижимо!

В каюте все жарче. Сплю совсем Адамом. Качает и качает то утлое, что хранит и несет нас среди этих бесконечных хлябей, веет во все окна и двери нежный воздух, жужжит из угла вентилятор... Иногда представляю себе себя самого, спящего, — беспомощно, без мысли и сознания лежащего в этой каюте, затерянного в океане. Как страшно и как хорошо! Я сплю, мы все спим, кроме тех двух-трех бессонных, безмолвных, недвижных, что бдят за нас там, наверху, на вахте, мы спим, а ночь, вечная, неизменная, — все такая же, как и тысячелетия тому назад! — ночь, несказанно-прекрасная и неизвестно зачем существующая, сияет над океаном и ведет свои светила, играю-

щие самоцветными огнями, а ветер, истинно Божие дыхание всего этого прелестного и непостижимого мира, веет во все наши окна и двери, во все наши души, так доверчиво открытые ей, этой ночи, и всей той неземной чистоте, которой полно это веяние.

26 февраля.

Спал в каюте на верхней палубе, думал, что в ней, более доступной ветру, все-таки не такое знойное тепло, не такая горячая духота, как в нижней. Но нет, там еще жарче, за день она, вся открытая солнцу, накаляется, как духовая печь.

Проснулся, по обыкновению, в шесть, — зашуршали швабры, зашумела вода из шлангов, — и тотчас же вскочил. Спать в этих солнечных странах можно очень мало, и сон, чуть откроешь глаза, отлетает мгновенно. Всегда есть надежда на что-то новое, счастливое в начинающейся утренней жизни, тут же, среди этого вечно-юного Божьего лона, в первозданности океана, особенно. Отдернул дверную занавеску, — уже всходит жаркое солнце, сладок шум воды, дающий обманчивое чувство прохлады, приятен вид молодых и здоровых людей за работой, их босых ног, крепких икр и до пояса обнаженных бурных тел. Еще раз здравствуй, утро! Еще раз выкатилось могучее тропическое светило, как выкатывалось оно в эту минуту уже сотни тысяч лет и снова будет выкатываться миллионы, когда от меня не останется даже пылинки.

За день муссон ослабел. Но качает еще шире и глубже, — как на качелях весь день качаешься.

Дочитал «На воде». — “J’ai vu de l’eau, du soleil, des nuages, je ne puis raconter autre chose...” Дочитав, бросил книгу за борт. Поднялся на верхнюю палубу, потом еще выше, на крышу капитанской руб-

ки, стоял и качался вместе со всем пароходом, который был весь подо мною и весь виден, от бугшприта до кормы, со всеми своими мачтами, снастями и тяжелой черной трубой, ее круглотой и тяжестью, ее чуть дымящей пастью. Все это поднималось, опускалось, косо валилось то туда, то сюда... Куда забросило меня! Я под экватором!

Сейчас пять. Океан все штилеет и принимает нежно-синий тон, — та зыбь, что качает нас, мертвая. И уже есть кое-где вдали поля светло-стальной глади.

Ночью.

Солнце нынче опускалось в спящее золото. Океан все штилеет. Всюду вокруг нас, по матово-стальным медленно перекатывающимся волнам, тоже текло, переливалось, блистало золото.

Мы поднялись с верхней палубы еще выше, на мостик. Океан за это мгновение стал уже весь млечно-стальной с голубым налетом, и по этой безграничной млечности пошли от заката (ставшего менее слепящим, оранжево-золотым) оранжевые глянца, меж тем как небо на востоке стало гелиотроповым, а вдоль бортов медленно изгибалась, как лилово-синие удавы, мертвая волна.

Мы поспешили на самую высшую точку, на капитанскую рубку: солнце успело уже скрыться, восточное небо стало фиолетовым, а западное позеленело и пошло по зеленому огненнооранжевыми полосами, над нами же, в бездонной глубине, ткани облаков, легчайшие, как дамасский газ, окрасились в нежно-малиновый цвет.

А через мгновение все опять изменилось: восточный небосклон стал сине-лиловый, море под ним — густо-фиолетовое. И все огненной разгорались полосы на небосклоне закатном. Когда же, с быстро на-

бегающим вечером, превратилось в фиолетовое и западное море, эти полосы раскалились как темно рдяное железо в горне. Темнело все быстрее, над закатом сверкнула первая звезда. Неприметная и маленькая луна, все время белевшая очень высоко над нами, стала оживать. Мы простояли еще несколько минут и побежали вниз на звонок к обеду: она уже сияла! Вдоль бортов потекло блестящее серебро, на палубе обозначились в лунном свете тени от снастей... И потянуло с востока бризом.

За обедом все говорили, что видели при закате знаменитый зеленый луч. Как когда-то пленял он мое воображение! Увы, я его не видел.

Потом без конца ходил по верхней палубе, наслаждаясь даже хрустением под ногами угольной пыли, невидимо сыплющейся из жерла трубы. Луна над самой головой, так высоко, что нигде в море нет от нее отблеска. И такая яркая бледность чехлов на шлюпках, точно они серебряно-меловые. Опять ветер с востока, звезды чисты. Мерно и крепко бьется стальное сердце «Юнана», мерно шагаю в лад ему и, мерно взвиваясь и падая, несутся назад, мимо бортов, холмистые волны. И качаются и дрожат, дрожат ярко-бледные виндзейли (холщевые трубы вентиляторов из кочегарной), привязанные за боковые треугольные полотнища к палубным стойкам возле трубы: будто какие-то дьяволы в саванах с треугольными врозь растянутыми рукавами.

27 февраля.

Просыпался в пять, — спал опять в верхней каюте, — выглянул, подняв дверную занавеску: солнца еще нет, но уже совсем день; впереди, за океаном, много красивых облаков, крупных, нежно лиловых; среди них нежно алеет восток.

Полдень. Сильный ветер навстречу, — все от близости земли, как говорят моряки. Белые круглые облака покрыли все небо, такие наши, орловские летние! Океан совсем синий, в мелкой зыби. Матросы уже готовятся «к берегу», усиленно стирают свое белье, — на баке все увешано рубашками, рукавами вниз. Ветер их треплет, надувает, — туловища с отрубленными головами.

Закат, звонят к обеду. Океан стал бронзовый, а по бронзе текут зелено-металлические, с красным оттенком переливы. Облака легкие, страшно высокие, розово-рыжие. И все мягко, мягко, дивно-нежно: ветер, воздух и все краски, все оттенки.

Опять на самом верху, пишу при лунном свете. Все огромно: и океан, и небо, и все пространство между ними, и все так высоко, высоко: и небо, и луна, и эти кучевые облака. Ох, как сладок и силен ветер и как носит, качает! Ветер, шум, плеск — и я среди всего этого в истинном блаженстве!

Проснулся, чтобы записать:

Звезда пылала на горизонте впереди целым золотым костром. Я стоял на мостике, я был капитан и командовал, отрывисто бросал назад, в рулевую рубку, радуясь быстрому ходу:

— Так держать!

А в рубке были, кроме рулевого, отец и мать,

давно, как я хорошо понимал, умершие, но живые все-таки, — я никогда не вижу их во сне мертвыми и никогда не дивлюсь во сне, видя их живыми. И я чувствовал к ним необыкновенную нежность в ответ на те ласковые, милые улыбки, с которыми они смотрели на меня, гордясь мной, моей отвагой. И было в их улыбках и еще что-то, смутный смысл чего был, кажется, таков: да благословит тебя Бог, живи, радуйся, пользуйся тем кратким земным сроком, что и ты получил в свой черед от Него!

28 февраля.

Все ближе земля — день облачный, с горячим, припекающим солнцем, с тем, что называется «парит». Под тентом на верхней палубе было жарче и душнее всех дней. И все больше чувствуется ненужность одежды, хотя мы и так уже почти раздеты.

Шесть часов, пишу на корме. Закат страшно далек, равнина океана видна к западу без конца. Закат, среди великолепных сиреневых облаков, весь огненно-красный, захватывает весь небосклон.

Возвращаясь с кормы к обеду, ахнул: луна — зеленая! Посмотрел из столовой в окно, выходящее на бак: да, зеленая! Нежно-зеленая, на гелиотроповом небе, среди пепельных облаков, над зеленым блеском океана! И так качает, что нос «Юнана» лезет в небо, а в окно бьет блаженно проникающий до самой глубины души ветер. И опять все так нежно, так ласково, так веет раем, истинно раем!

1 марта ночью.

Земля, рай все ближе — всю ночь облака, всю ночь луна сияет между ними, серебром озаряя их края.

Последняя ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо.

«Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое!

Вот я, — как бы один во всем мире, — в последний раз мысленно преклоняю колени на этой светлой от луны палубе. Словно нарочно разошлись облака, и радостно и мирно сияет лунный лик в высоте передо мной, а ниже, в светлой и прозрачной бездонности южного небосклона, тихо теплятся алмазы Южного Креста. Спокойным и предвечным веселием веселится светлая ночь Твоя. — Как мне благодарить Тебя?

ГОРОД ЦАРЯ ЦАРЕЙ

Вот старая, старая карта земного шара. Опять гляжу на нее, — в который раз в жизни и все еще жадно! — опять блуждаю глазами по великой пустоте Индийского океана, вижу черту экватора, оста-навливаюсь на том заветном месте немного выше его, где удлинненной каплей падает от треугольника Индостана, как бы от острия древесного листа, Цейлон, священный Львиный Остров, и опять вспоминаю: Город Царя Царей, Анарадхапура...

Что такое Анарадхапура? Кто знает или хотя бы слышал о ней? А меж тем Анарадхапура, величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из самых глухих цейлонских селений и поражающая пилигрима только чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она процветала на диво всему древнему Востоку, по размерам почти равняясь современному нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими Дагобами, воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя пирамиды Египта.

Создатель одарил Цейлон всем, что только есть на земле ценного и прекрасного. Создатель сделал его Раем, местом сотворения человека, и отдал Адаму в полное владение лишь с одним запретом: не стремиться ни мечтой, ни зрением за пределы Рая. Но, искушаемый жаждой далекого и неведомого, жаждой «знать и иметь», с восторгом и корыстью

созерцал Адам в час утренний, с высочайшей горы Рая, царства и моря, в солнечно-голубых туманах лежавшие окрест, — и преступил запрет, ушел с Евой в Индию, мостом нагромоздив ряд скал в проливе между Индией и райским островом. Авель, не пожелавший противиться Божьему запрету, остался в Раю. Каин последовал за родителями. Но всюду и непрестанно томила его тоска по оставленному Раю, и вот, постранствовав в мире, возвратился он в Рай и убил Авеля, дабы владеть Раем «нераздельно и вечно».

То, что известно нам о Цейлоне, по существу сходно с этим цейлонским сказанием. Соединенный с Индией так называемым Мостом Адама, цепью рифов и скал, действительно был некогда Цейлон частью нашей Прародины. И необыкновенно многообразно его географическое строение и неисчислимы природные сокровища. Горный хребет Цейлона, занимающий три четверти его поверхности и за много миль маячащий мореходу своим острым Адамовым Пиком, изобилует глубокими долинами и многоводными реками, тонет в первобытных лесах. Возвышенны, лесисты и восточные его берега, а полную противоположность им составляют берега западные, низменные, отягченные буйной растительностью влажных тропических мест, равно как и болотистые джунгли севера. Океан вокруг Цейлона цветет жемчугом, кораллами и населен как в первые дни творения. В горных цейлонских недрах таятся великие залежи хрусталя и графита, в речных ложах — сказочные богатства драгоценных камней. Растительный же мир Цейлона, равного которому, в смысле обилия пород, нет на земле, мир от века и непрестанно цветущий и благоухающий, служит приютом для несметных видов птиц, пресмыкающихся и для несметного множества всяких обезьян, летучих лисиц, кабанов, пантер, слонов, оленей...

История Цейлона темна. Все же на основании летописей, начатых в буддийских монастырях Анарадхапуры более двух тысяч лет тому назад, и по древним книгам Китая, Бирмы, Сиамы, с достоверностью установлено, что и история человеческой жизни на Цейлоне весьма точно намечена в иносказаниях цейлонских мифов об Адаме и его несчастных чадах. Да, первым обладателем Цейлона был действительно человек первоэданний, пращур того (крохотного теперь) племени, которое вымирает в горных лесах юго-восточного цейлонского побережья под именем Лучников: современным знанием Лучники признаны за древнейшую в мире расу, за потомков праобитателей земли. Я видел эти леса. Они доисторически глухи, имеют много общего с девственными лесами Австралии, дебри их серых стволов и узловатых сучьев покрыты кожистой темной листвой, опутаны непролазными тенетами лиан; англичане прорубают в этих дебрях многомильные просеки, пролагают шоссе, но пока только одни удавы переходят их своими волнистыми трубами. И вот эта-то от века заповедная глушь и дает убежище Лучнику, прямому наследнику того, кто был цейлонским Авелем.

Я смотрю на карту: вот заповедная точка земного шара, где живет древнейший из нас. Помню ослепительный и в то же время прохладный (по причине высоты) полдень. Я на гребне Цейлона, на Пидуруталагалле, и весь Цейлон подо мною. В необозримые дали расходится туманно-синеватая картина его горного хаоса, сплошь покрытого лесом, и великий простор океана объемлет горизонты вокруг, и вся душа моя охвачена опьянением какой-то восторженной гордости, вечно присущей высотам. Но обманчивы все человеческие гордыни! И великой грустью земной тщеты сменяется моя гордыня при виде тех горных вершин, что лежат подо мною: там тоже бьется человеческое сердце, а как жалок и страшен этот чело-

век, это существо, потаеннее всякого зверя скрывающееся от меня, своего единоутробного брата, в этих древесных притонах! Он и теперь еще не знает ни огня и никаких орудий, кроме лука да каменного топора. Он питается кореньями и плодами, лакомится ящерицами, дохлыми обезьянами. Религии у него нет, — он только смутно почитает (то есть, боится) духа предков, и даже смерть его не освящается никаким обрядом. Нет у него и никаких основ права, нравственности и нет даже семьи, — разве его детеныши и его самка (чаще всего его родная сестра) составляют семью? А телом он черен, ростом карл, хотя сложен прекрасно и ловок необыкновенно, череп имеет самый маленький в мире, волосы буйные, уши торчащие и подвижные... Замечательней всего то, что цейлонский Авель никогда не смеется: этого человеческого дара он лишен совершенно.

А Каином был на Цейлоне пришелец из Индии. Индией, согласно буддийским летописям, владели сурии, арийцы. Они были будто бы очень мирны, эти «Дети Солнца», но вот родился среди них вождь, великий царь, родился чудесно («от женщины и льва») и уже с юности приобрел славное имя: Жестокий Виджая. Под его водительством сурии вторглись по Мосту Адама в царство Авеля, овладели Раем и назвали его (в честь своего вождя) Львиным Островом (Сингала), а своих побежденных противников, тех самых, что известны теперь под именем Лучников, частью истребили, частью обратили в рабство, частью загнали в горы, в леса. И тогда наступила уже не райская, а чисто земная слава Острова: целых две тысячи лет процветало новое арийское царство, царство сингальское. Весь мир дивился его могуществу, его трудам, всяческому строительству: обработке земель, осушению болот, созданию городов, дворцов и храмин, циклопических плотин, ограждающих поля от разливов, великих каналов, распределяющих водные

орошения, и величайших в мире священных пирамид. И целых две тысячи лет не было во всей Азии города, равного сингальской столице, воздвигнутой среди расчищенных джунглей на севере острова и возведенной пышным именем: Город Царя Царей — Анарадхапура...

Помню, с каким странным чувством смотрел я с высоты Пидуруталагаллы в ту смутную синь северной дали, где в безграничных лесных дебрях, снова разросшихся теперь так же мощно и буйно, как во времена незапамятные, покоились забвенные останки Анарадхапуры.

Человеческая история есть прежде всего история человеческих кровопролитий. И летописи сингальского царства говорят о его непрерывных войнах с прочими «сынами женщины и льва», с теми, которые, следуя примеру первого завоевателя Рая, непрерывно вторгались из Индии на Львиный Остров уже для нападения на потомков Виджаи. И шли века, и без конца длилась борьба. Но царство сингальское неизменно одолевало и все ширилось и крепло. В пятом веке до Р. Х. оно достигло вершины своего материального могущества, а с третьего столица его становится оплотом новой веры, данной человечеству царевичем из рода Сакиа, и начинает прославляться как священный город. «Кроткое и мощное слово Того, чей голос прозвучал по всему миру, как серебряный колокол, подвешенный к небесному своду», уже дошло и до Львиного Острова.

В третьем веке новая религия объявляется единой истинной с высоты самого престола. Царствует царь Тисса. В некий день он забавляется охотой в окрестностях Анарадхапуры и достигает горы Михинтале, поднимается в джунгли, покрывающие ее вершину. С луком наготове, одолевает он цветущие заросли, как вдруг пестрой стрелой взвивается перед ним великолепный олень. Царь кидается за ним, но в

этот же миг и столь же внезапно преграждает дорогу царю появившийся из-за тех же листьев, цветов и ветвей человек в легкой хламиде, ослепляющей среди зелени своим солнечным, желтым цветом. Он бос, с обнаженным правым плечом и с темным, худым, вдохновенным ликом.

— Царь, не разрушай жизни! — говорит он. — Сбрось с себя покрывало греха и невежества. Я Махинда, сын царя Асоки Великого, служителя правды, зову тебя на краткую стезю Того, Кто научил Нирване и Закону.

И царь Тисса попросил его сказать Колесо Закона и, выслушав, со смирением преклонился перед первым буддийским апостолом, посетившим Львиный Остров.

Царь Тисса отдал гору Михинтале святым соратникам Махинды, «кроткой братии желтого облачения», стекавшей к Махинде со всего Острова: он построил на горе Михинтале и в окрестностях Анарадхапуры множество обителей для них, для их пребывания там в дождливое время года; он выделил лучший участок в столице для посадки ветви со священного дерева Бо, под которым Будда познал Истину, он посвятил весь остаток своей жизни на мысли и дела благочестия, на то, чтобы сделать Анарадхапуру как бы престольным городом самого Будды, и на всяческое украшение, достойное ее славы и святости. Наследники же его в течение целых веков продолжали его труды. И богаты были плоды этих трудов!

Царство сингальское, говорит Фа-Сьян, китайский монах, живший в пятом веке после Р. Х. и стяжавший себе большую известность своими путешествиями по святым местам и описанием их, по справедливости гордится своей столицей. Анарадхапура есть великолепный город огромных размеров. Он занимает шестнадцать миль в ширину и столько же в

длину. Главные улицы его суть: Песочная, Речная, Царская и Лунная, малых же — без числа. На каждой главной улице помещается десять тысяч больших и богатых домов в два и три этажа. Улицы эти усыпаны песком, — белым по середине, черным по бокам, — и украшены множеством триумфальных ворот в цветах и знаменах. И тысячи людей, лошадей, зебу, слонов, паланкинов запружают их с утра до вечера. А надо всей этой прекрасной картиной шумной человеческой жизни, над великим множеством домов и базаров, высятся золотые кровли и золотые острия монастырских дворцов, Ступ и Дагоб...

Почти то же самое и с таким же восхищением говорят об Анарадхапуре и другие древние записи. И, читая их, представляешь себе огромную низменную страну, многолюдную, райски богатую, возделанную до последней своей пяди, покрытую селениями, рощами, садами, изрезанную реками и каналами, и посреди нее — огромный и великолепный город, вокруг которого и над которым гигантски блещут золотом и белизною пирамидальные, куполообразные и колоколоподобные здания, более похожие на горы, чем на дела человеческих рук.

Благословенное дерево Бо, под которым, в рощах Урувелы, после долгих лет, проведенных в истязании тела и духа, в глубочайших думах, в поисках Истины, Будда был однажды озарен ею внезапно, точно молнией, росло в Индии, слишком далеко от Львиного Острова, чтобы каждый живущий на нем хоть раз в жизни обрел высокое блаженство быть осененным его листвою. И вот, из Анарадхапуры было отправлено в Индию священное паломничество за ветвью этого дерева, и ветвь была доставлена на Львиный Остров под попечением дочери царя Асоки, царевны Сангамиты, сестры Махинды, на особом корабле, и посажена на особом участке на окраине Анарадхапуры с таким торжеством, о котором верные

говорили и писали впоследствии целые века. Затем было начато возведение Дагобы Тхупарамы и Бронзового Дворца (то есть, той обители, развалины которой и донныне стоят в ближайшем соседстве с двухтысячелетним отпрыском Священного Дерева) и состоялось перенесение из Индии другой величайшей святыни — ключицы Будды...

Теперь Анарадхапура — маленькое и глухое лесное селение, через которое пролегает единственная улица, вернее, дорога под вековыми деревьями, еще сохранившая древнее название: Священная Улица. На этой-то дороге, более двух тысяч лет попираемой стопами пилигримов, и стоит с одной стороны Мага-Вихара, в ограде которой растет Дерево Бо, и Лога-Пазада, то есть, Бронзовый Дворец, с другой.

Мага-Вихара есть место, окруженное низкой каменной стеной. У ворот ее в полной неприкосновенности лежит двухтысячелетний гранит, Луна-Камень. За воротами стоят две громады — два Будды, а по середине двора уступами высятся несколько земляных насыпей, лежащих друг на друге — несколько квадратов, из которых каждый менее предыдущего, ибо уже несколько раз со времени благочестивой сестры Махинды достигало дерево такой величины и ветхости, что нужно было, ради сохранения его от гибели, заключать его в земляную насыпь, оставляя на свободе только его ветвистую вершину. И три уступа широкой каменной лестницы ведут теперь под сень благословенного дерева, так широко раскинувшегося на верхней площадке, что в ветвях его свободно поднимается великолепная пальмира, по которой вверх и вниз носятся маленькие, игривые обезьянки.

В Бронзовом Дворце было некогда девятьсот келий и обитало девятьсот иноков. Девять этажей его покоилось на тысяче шестистах гранитных колоннах, высота которых постепенно, по мере приближения к

середине Дворца, все увеличивалась, меж тем, как размеры каждого этажа уменьшались по мере возвышения, так что Дворец имел форму пирамидальную, «блистал же своей медной кровлей, как небесная обитель».

Самодержавный государь Ланни, говорится в одной священной летописи пятого века нашей эры, назначил великое богатство денег, одежды и сосудов с сахаром, маслом и медом на постройку Бронзового Дворца, не желая обременять тех, которые строили Дворец, трудом безвозмездным. Дворец был окружен стеной, покрытой бронзовыми бляхами, что и дало Дворцу его название, — Лога-Позада, Бронзовая Обитель. Все келии Дворца были украшены с чрезвычайным великолепием: стены их блистали инкрустацией из драгоценных камней, образующих цветы; вдоль стен стояли сидения из резного дерева; на полу лежали чудесные ковры. В середине же Дворца была большая зала, вся золоченая, местами унизанная жемчугом и прочими самоцветами, потолок которой держали колонны с изображением различных божеств и животных. И трон, который стоял в этой зале, был из слоновой кости и на его возглавии сияли: золотое солнце, серебряная луна и перловые звезды. Возле трона лежало опахало слоновой кости — знак великого жреца, и был раскрыт зонтик белого шелка — знак царской власти. Сосуды же, где мыли руки и ноги, и ложка, употреблявшаяся в кухне при варке риса, — все было золотое... Теперь от этого великолепия осталась только каменная голая чаща в тысячу шестьсот столбов.

Прочие руины разбросаны в рощах и джунглях вокруг Анарадхапуры. Это останки Упозад, — святилищ, где жрецы читали два раза в месяц собранию верующих веления Будды и принимали общую исповедь, затем пруды, заросшие лотосами, полные черепах и крокодилов, водоемы для омовения, камен-

ные корыта и саркофаги неизвестного назначения, полукруглые Луны-Камни с изображениями на них слона, лошади, буйвола, льва, лотоса и гуся, затем многочисленные белоснежные колокола Ступ и наконец Дагобы.

Царь Тисса подарил монахам землю в рощах за городом и золотым плугом, который влекли два белых царских слона, собственноручно провел границы ее. Место это называлось Роща Магамега, и в ней-то царь и воздвиг из священного доломита (белого известняка, употреблявшегося лишь для храмов и царских дворцов) первую из цейлонских Дагоб — Дхупараму, древнейший памятник всей Индии, святая святых Цейлона, где хранилась ключица Будды. Поднимаясь в небесную высоту, она еще доньше сверкает своей снежной белизной и окружена тремя рядами орнаментированных колонн, многие капители которых валяются на земле и заросли кустарником и травами.

При Тиссе построена была и Иссурумуния-Дагоба, а несколько позднее — Дагоба Руанвели. Теперь она превратилась в совершенную руину: издали видишь только гигантский холм, покрытый чащей кустарников, а приблизясь — гигантскую грудку кирпича, насквозь проросшую травами и деревьями.

И все эти Дагобы превосходит своими страшными размерами Дагоба-Абхупари, соперничавшая с пирамидой Хеопса. Теперь от ее высоты осталась половина, и большого труда стоит взойти на нее по ее разрушенным ступеням. Но какой дивный, необъятный вид открывается с ее вершины на океан окрестных джунглей, болот, рек и островами подымающиеся среди них скалистые возвышенности! Невдалеке от нее уже две тысячи лет сидит в лесу и улыбается грустно-насмешливой улыбкой огромная черная статуя Будды, по плечам которой то и дело цветистой молнией мелькают хамелеоны. А если взять двуколку,

запряженную бычком, то через час доберешься до джунглей, где бурыми могильными холмами стоят муравейные кучи и перебегают дорогу шакалы, олени и кабаны, а потом доедешь до подножия Михинтале с высеченными на ней двумя тысячами ступеней. На темени этих скал — могильный храм Махинды, осененный кокосовыми пальмами. На пальмах сидят сиворонки, обезьяны. На жертвенных столах перед храмом лежат ящерицы. Скалы окрест одиноко возносятся из древесного моря низменности. И великая тишина почует над мертвой священной страной.

1924.

III.

С Н Ы

В поле было холодно, туманно и ветрено, смерклось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции, на буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидел, что на часах всего половина седьмого.

«И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей», вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги.

Попрежнему было холодно и тихо, попрежнему чернела за окнами тьма...

Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно занял звонок. Выйдя в третий класс, я увидел мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье.

— Это поезд вышел? — спросил я.

Мещанин встрепенулся и взглянул на меня испуганно. Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу.

— У него жена в родах помирает, — сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и держа цыгарку из газетной бумаги. — У всякого, значит,

свое горе, — прибавил он рассеянно и вдруг сладко зевнул, оживленно, с непонятым злорадством, заговорил:

— Вот тебе и женился на богатой! Второй день мучается, Царские Врата в церкви отворили — ничего не помогает! Теперь в город за доктором скачет, а к чему, спрашивается?

— Думаешь, не поспеет?

— Никак! — ответил сторож. — Вернется он завтра вблизи вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет, — прибавил он убежденно. — Три раза, говорит, на оракул кидал, — кто мол, раньше помрет, я али жена, и три раза выходило одно и то же. Перва... как это? «Ничего тебе простирать в даль свои намерения», а потом и того хуже: «Молись Богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». А вчерась, говорит, во сне видел: будто обрили его до гола и все зубы вынули...

Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке... Я вышел на платформу.

Там я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истопник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой...

Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног, а за растворенной дверью возле меня, в дымном сумраке под фонарем, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них.

— Да-а, братцы мои, — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос: — Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старичок священник из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный приход, а за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо. «Сколько, мол о. Петр, за кстины аль за похороны берете?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть»... И вот так-то всегда. Перевели его, значит, весной, пробыл он честь-честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие, или простудился он, — лето-то, сами знаете, какое было, — только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почуявши такую историю, вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми: «Должно, говорит, скоро я преставлюсь к Господу Богу, миряне, — простите, ежели согрешил что»... И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедши домой, сел было обедать, есть не наел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что при ём заместо служки был: «Что-й-то, говорит, мне холодно, свет, и так-то скушно, — просто мочи нет. Всё дочка покойница вспоминается, всё будто ждет она меня к себе... Убирай, мол, со стола — не идет мне еда на ум». — «Напрасно вы такие речи говорите, папаша, — это сторож-то ему, — напрасно, мол, так случилось. Какие такие ваши года?» — «Нет, говорит, помру! Только дюже, говорит, везде горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?» А на дворе, не хуже теперешнего,

льет, незгода и уж вечер заходит. Поглядел этак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку да и прилег на часок. То ли он спал, то ли так, в забытьи лежал, только уж ночь на дворе, а он всё лежит да лежит...

— Вон она, дело-то какая! — сказал кто-то с глубоким вздохом. — На Покров, говоришь, вышло то всё это?

— Да ведь сказали, на Покров! — сумрачно перебил сиплым голосом большой рыжий мужик с злыми глазами, в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика.

— На Покров, на Покров, — подтвердил рассказчик. — Вечером. Ушел, говорю, к себе в горницу и лег... Да-а.. Ушел и лежит и так будто угрелся на лежаночке, супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следает. Лежу, говорит, гляжу на лампадку и вдруг вижу: отворяется тихенько-тихенько этак дверь и входит ко мне дочь покойница. «Что такое, думаю, что за притча такая, Господи?» А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее в церковь». Я р-раз с постели, а ей уж нету! Посидел я, посидел, и, что больше сижу, всё чудней и страшней мне становится. Вскочил наконец того на ноги, захватил ключи от церкви, накинул шубенку, выбрался в сенцы... Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури, — нет, думаю, надо итить! Спешу на гору, дохожу до церкви, — глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Оробел я опять, одначе перекрестился — и на паперть. Насилу ключом в замок попал. Отворяю дверь — нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над Царскими воротами. Кто ж это, думаю, ее зажег, что такое буде? Стою ни жив, ни мертв, вдруг — р-раз! — отдернулась занавесь на

Царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери и выходит из темени, из самого, значит, алтаря огромный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я всё стою и жду, что будет дальше, а дальше выходит и третий: черный, как головешка, только гребешок светится, и запел он, братцы мои, таково жутко и строго, что опустил я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» И только, это, сказал я, — нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!»

— Вот за это-то за самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями, — громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь. — Ночь, скука, а он ишь какая суеверия сидит разводит! Ты к чему всё это гнешь-то, а?

— Да ведь я ничего плохого, — несмело пробормотал рассказчик,

— Позволь, ты откуда взял-то всё это?

— Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал.

— Священник энтот помер, — перебил мещанин.

— Это верно, верно... помер... вскорости и помер...

— Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина!

— Да я-то про что ж? Известно, сновидение.

— Ну и молчи, — опять перебил мещанин. — Да

и курить-то давно пора бросить, надымили — öвин чистый!

— В первый класс иди, коли не ндравится, — сипло и зло сказал рыжий мужик.

— Побреши еще!

— Брешут собаки да твои свояки!

— Буде, буде, ребята! — закричали мужики, за- волновавшись.

Бранившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул:

— Ну и стерва, прости Ты меня, Господи, — задумчиво сказал он таким тоном, точно был в вагоне один.

И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих.

— А за что ругаться-то, — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо успокоились. — Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе...

— Чо-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул. — Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дите помирают. Пойми!

— Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.

— Не мене! — передразнил мещанин. — Я, может быть, тысячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за сто верст, а дорога — ни проходу, ни проезду! Вчерась измаялся, ткнулся в чем был на постель и вижу — будто обрили меня до-гола и все зубы вынули! Пойми — сладко?

— Ага! — сказал рыжий мужик. — Покаялся! А то — сновиде-ение!

— До Туровки кто имеет билеты? — прокричал кондуктор, проходя по вагону.

И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение.

Поднявшись с места, я снова otvorил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а ры-

жий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал:

— Ну, ну, даказывай дальше.

Несколько полушубков стеснилось вокруг рассказчика, несколько серьезных глаз блестело в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал:

— А тебе, господин, что надо?

— Послушать хотел, — ответил я.

— Не господское это дело мужицкие побаски слушать.

— Да-а, братцы мои, — снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел, — и стоит, значит, перед ним седенький, седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель Божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела»...

Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался — всё тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я настораживался, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака про-

тив меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.

Р. С.

Рассказ «Сны» написан мною в конце 1903 г., — полвека тому назад! — сдан был наспех в первый сборник «Знания» и напечатан в нем без моей корректуры, — я был тогда в Ницце, — чем и объясняются многие погрешности этого рассказа в его первой редакции (ныне мною устранимые). Весь он — вымысел, кроме того, что в нем г л а в н о е, — вешее и даже зловещее, ибо уже не далек был роковой 1905 год, начало гибели России, — этот сон старичка священника, те три петуха, которых он будто бы видел и слышал ночью в своей церкви. Разговоры о них шли тогда в народе упорно, а лично я о них слышал в нашем уездном городе, в Ельце, в базарном трактире, от мещан, пивших там чай. Рассказ мой, повторяю, был в некоторых частностях далек от совершенства (и, как я уже сказал, не совсем по моей вине). Однако, вот что писал о нем Чехов в письме к Амфитеатрову 13 апреля 1904 года, незадолго до своего рокового отъезда за границу:

«Пишу я теперь мало, читаю много. Сегодня читал «Сборник» изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего на о, прочел там и великолепный рассказ Бунина. Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Я узнал об этом отзыве Чехова совсем недавно — из собрания Чеховских сочинений и писем, вышедшего в Москве тоже сравнительно недавно. Узнал, конечно, с большой радостью.

Ив. Бунин.

П а р и ж, 1953 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------|---|
| От издательства | 5 |
|---------------------------|---|

I.

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Петлистые уши | 9 |
| Богиня Разума | 24 |
| Иоанн Рыдалец | 38 |
| Обреченный Дом | 45 |
| Весенний вечер | 47 |
| Я все молчу | 60 |
| К роду отцов своих | 73 |
| Ермил | 80 |
| При дороге | 94 |
| Игнат | 123 |
| Дело корнета Елагина | 155 |
| Господин из Сан-Франциско | 199 |

II.

| | |
|----------------------------------|-----|
| Аглая | 227 |
| Третьи петухи | 237 |
| Песня о Гоце | 240 |
| Несрочная весна | 246 |
| Notre-Dame de la Garde | 260 |
| Крик | 267 |
| Сверчок | 273 |
| Преображение | 285 |
| Худая трава | 290 |
| Первая любовь | 315 |
| Алексей Алексеич | 317 |
| Подснежник | 328 |
| Воды многие | 332 |

III.

| | |
|---------------|-----|
| СНЫ | 375 |
|---------------|-----|

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена \$3.00

